

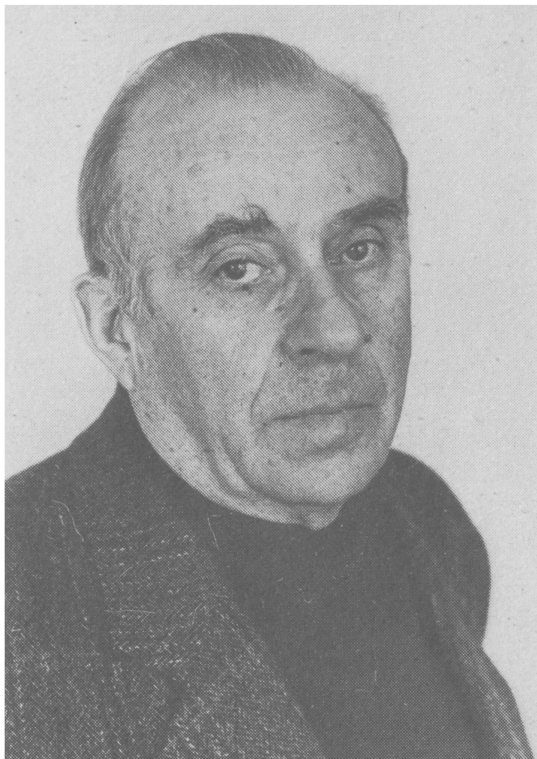
БИБЛИОТЕКА

ISSN 0132-2095

ОГОНЁК

МОСКВА

№ 29 1991



***В. КАРДИН***

**К ВОПРОСУ  
О БЕЛЫХ ПЕРЧАТКАХ**



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 29

Издается с января 1925 года

В. КАРДИН

# К ВОПРОСУ О БЕЛЫХ ПЕРЧАТКАХ

ПУБЛИЦИСТИКА

Москва. 1991

## В. КАРДИН

*Кардин В. (Эмиль Владимирович) родился в Москве в 1921 году. После средней школы поступил на литературный факультет Института истории, философии и литературы. Закончив два курса, пошел в армию, на фронт. Был бойцом, парашютистом, политработником, сотрудничал в дивизионной газете. Ранен, контужен. Кончил войну капитаном и через некоторое время получил направление на учебу в Военно-политическую академию имени В. И. Ленина.*

*Завершив полный курс академии, служил в гарнизонах Дальнего Востока.*

*Демобилизовался в 1953 году, а со следующего года начал публиковаться в «Новом мире», «Литературной газете», «Театре», «Искусстве кино» и других периодических изданиях. Некоторые статьи подверглись резким нападкам в печати.*

*В 1962 году вышел первый литературно-критический сборник — «Верность времени». Всего же написал около двух десятков книг — критика, публицистика, проблемы театра и кино, документальная проза.*

*Книга «Достоинство искусства» (1967) вызвала особенно резкое недовольство официальных идеологических инстанций, длительную проработочную кампанию.*

*Член Союза писателей СССР.*

## ЛУЧШИЕ ГОДЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ, или ПОЧЕМУ Я РАВНОДУШЕН К АНТИУТОПИЯМ

В начале марта нынешнего года, накануне Женского дня, я стоял в очереди ветеранов войны, получавших праздничный заказ. В зальцу, отведенную для этой своеобразной торговой операции, набилось много народу. Но кассирша и продавец работали споро. Каждый из нас провел в магазине не более полутора часов. В очереди царило миролюбие. Собща гадали, какой заказ ждет нас к 9 Мая, соединят его с первомайским или нет, будет венгерская курица или ножки от американских, дадут бразильский кофе или советский, югославские конфеты или польское печенье...

Грузная женщина в платке призналась, что она не большая охотница до кофе, да и дороговато — шесть целковых, и если кто-нибудь из товарищей хочет, пожалуйста, пусть возьмет ее банку.

Мужчина в тяжелых очках и пышной ушанке рассказал о своем взводном командире, который живет в далеком сибирском городке, — там с ветеранскими заказами дело обстоит худо.

— А нас, в Москве, все-таки не забывают.

Я слушал грузную женщину — в сорок пятом ей, санинструктору, было двадцать лет, очкастого, в далеком прошлом фронтового связиста, и думал о скудости — нет, не нашей жизни, но человеческого воображения. Ну кто из нас тем солнечным победным маем мог представить себе, что едва не полвека спустя мы будем стоять в такой очереди и буднично вести такие разговоры! Да самая ли это великая несообразность, когда жизнь будет прикладывать нас физиономией о подоконник, заставляя усомниться: неужели мы дожили до такого? И чем чаще прикладывает, тем меньше удивляемся.

Июльским вечером 1943 года в медсанбатскую палатку для раненых рядом со мной положили лейтенанта с перебитыми ногами и лицом, превращенным в месиво. Истекая кровью, лейтенант пролежал во ржи, вероятно, с неделю, его обнаружили собаки-санитары. Всю ночь палатку оглашали тяжкие стоны. А утром его, уже бездыханного, вынесли хоронить.

Могла ли ему в предсмертном бреду привидеться колонна чернору-башечников, торжественно шествующая по московской улице, отмечая день рождения фюрера? Свастика на стенах домов? Свастика, проступающая сквозь строки какой-нибудь газетной статейки? Воображал ли, что столичный журнал, радея за дальнейшее повышение культурного уровня читателей, посоветует выпустить в свет «Майн Кампф»?

Что такое фантазия и гнев Замятина, Хаксли, Оруэлла, невероятные сцены антиутопий рядом с нашей разобыкновеннейшей действительностью? Нет, не шибко задевают меня эти фантастические сцены.

Осенью 41-го года в лесу под Калинином я впервые увидел нацистскую листовку. Ее нашел на раннем снегу Сережа Козлов и, смеясь, принялся читать вслух. Невеселые это были дни, но мы смеялись. Сочинители листовки советовали: штык в землю, объявить Москву открытым городом; вермахт очистит русскую столицу от инородцев и наведет образцовый порядок.

«За кого они нас держат?!» — изумился Сережа, не подозревая, что жить ему осталось несколько дней, а через четыре с чем-то десятилетия словечко «инородец» войдет в наш повседневный обиход, обретет силу аргумента в бесконечных спорах, ведущих не к истине, а к кровопролитию. Споры бесконечны, ибо нет народа, который нельзя было бы отнести к инородцам.

Среди моих добрых фронтовых друзей было два бакинца — Мартиросовы и Багиров. После демобилизации оба вернулись в родной город и прожили в нем до последнего своего дня.

Недавно я поймал себя на дикой мысли: хорошо, что Мартиросовы и Багиров не дожили до зимы девяностого года. Но каково теперь их вдовам? Оба женились на русских. Неужели их детям, полукровкам, на роду написано быть вечными инородцами?

Во всемирно известных антиутопиях источник человеческой трагедии — тоталитаризм. Сейчас в этом никто как будто не сомневается. А всего несколько лет назад журналист-международник со страниц солидной советской газеты объяснял, что в «1984-м» Джордж Оруэлл гениально предсказал будущее капитализма, гнилой буржуазной демократии.

Оруэлл предсказал многие особенности тоталитарной системы, знал, что ложь можно считать правдой и наоборот, но не предвидел шуток, какую с ним сыграют. Он писал о фанатичной вере, порабащающей человека. Но не менее опасным оказалось безверие, наделяющее умением приспособиться к любым обстоятельствам, найти оправдание любой мерзости, всякому преступлению.

Есть все же что-то наивное в лозунгах, которые украшают фасады домов в оруэлловской Океании: «Война — это мир», «Свобода — это рабство». Десятилетиями мы жили среди девизов настолько нелепых, что они вообще переставали восприниматься. На вокзале одного подмосковного города неоновые буквы образовали привычное словосочетание. Но

три буквы последнего слова когда-то, видимо, погасли, и с тех пор никто уже не обращал внимания на некоторую странность светящегося утверждения: «Народ и партия ны».

В антиутопиях понятия обычно лишаются исконного смысла или сочетаются таким образом, что конечный их смысл противоречит первоначальному. В «Скотном дворе» Оруэлла царит принцип: «Все животные равны между собой, но некоторые более равны, чем остальные». Для нас, принимающих абсурд как норму, совсем необязательна столь откровенная формулировка. Вполне достаточно первой части — утверждения о всеобщем равенстве. Остальное предполагается, подразумевается само собой. Цинизм сделал нас на удивление сообразительными.

Десятилетиями государство сулит «проявить заботу о наших славных фронтовиках», «улучшить», «обеспечить», «повысить» и т. д. Под гул однообразных заверений ветераны покидают этот мир. У одних позади нищета, у других — роскошь. Но это крайние точки. Большинству досталась обыденно трудная жизнь, отягощенная непониманием новых поколений.

Чем шумнее официальные обещания, приуроченные к очередному Дню Победы, тем больше косых взглядов бросают люди на ветеранов, сильнее общее раздражение жалкими льготами, какие дарованы фронтовикам много лет спустя после войны.

Попытки «внедрить» любовь к «нашим славным» и т. д. способны вызвать противоположное чувство. Накануне Дня Победы тысячи, сотни тысяч школьников под диктовку учителей пишут праздничные поздравления ветеранам. Не хватает бумаги на ученические тетради, не хватает полиграфических мощностей, почта не справляется с обычной нагрузкой. А тут, извольте радоваться, потоки открыток. Безобразие, бессмыслица, да и только.

Нет, не только. Представьте себе одинокого, заброшенного человека, привыкшего к пустому почтовому ящику. И вдруг в этом ящике красочные открытки к празднику, добрые слова, выведенные детской рукой.

Насчет слезы ребенка сегодня наслышаны все, даже не читавшие Достоевского. Не наступил ли срок прочитать телевизионную нравственную проповедь о слезе старика?..

Ни в одной антиутопии не встретишь ничего похожего на историю, хорошо известную моим однополчанам.

Израженный, увешанный орденами боевой офицер-разведчик, приехав в отпуск в свое селение на берегу Черного моря, не находит ни жены, ни родни. Все почему-то отбыли в Казахстан. И он выписывает у коменданта литер, в офицерском вагоне отправляется, не подозревая о том, в зону для сосланных греков. Там и остается. При орденах, при мундире. Но без права выезда, без права возвращаться в часть.

Не сразу мы, вернувшиеся с фронта, ощутили себя поколениями, почувствовали связь между собой, необходимость в ней. Миновали первые

послевоенные годы, и мы начали искать друг друга, наводить справки, списываться, искать встречи. Вероятно, что-то в мирных днях заставляло нас держаться «до кучи». Чем-то эти дни не отвечали нашим фронтовым мечтам о будущем. Сейчас более или менее ясно — чем.

Мы не ждали молочных рек и кисельных берегов. Своими глазами видели спаленные села, руины городов. Но у нас же появились свои, пусть и расплывчатые, представления о справедливости, о собственном назначении, о человеческом достоинстве. Они удручающе не совпадали с тем, что нас ждало едва ли на каждом шагу.

Об этом можно писать и писать. Судьбы складывались по-разному. Кому-то достался счастливый жребий. Кто-то вернулся на пепелище. Кого-то ждали. Кто-то оказался нежеланным. Один пил от отчаяния, другой обмывал удачи, третий прикладывался по окопной привычке. Число вариантов беспредельно, и отнюдь не все напасти списываются на общественные аномалии. Но при этом многообразии, при несходстве участи и воззрений свой брат, прошедший теми же фронтовыми дорогами, лежавший в тех же медсанбатах и госпиталях, что и ты, должен был тебя понять, тебе посочувствовать.

Я не склонен приукрашивать ветеранское сообщество. Ему свойственны пороки любых других наших сообществ и коллективов. Оно не чуждо свар, склок, честолюбивого состязательства. Все как у людей. Но убедился: в трудную минуту немедля поспешат на помощь. Через тысячи километров прилетят к больному однополчанину, из-под земли раздобудут дефицитное лекарство. Найдут слово поддержки... Не так-то уж и мало.

Средний ветеранский возраст сегодня возле отметки «семьдесят». При таком жизненном стаже что значит два-три года службы в одной, давным-давно расформированной дивизии?

Значит нечто донельзя важное, хотя и труднообъяснимое. Не зря замечено: людей объединяет не кровь, текущая в жилах, а кровь, текущая из жил. Но неужели все объясняется ею? Разве время не утишает боль затрат, не ослабляет память о потерях?

Фронтовые годы — годы духовного взлета, братского единения, общих страданий и общей ответственности. Тогда каждый почувствовал: я нужен стране, народу; без меня не обойтись.

О случившемся после войны с армейской четкостью сказано у Бориса Слуцкого: «Когда мы вернулись с войны, я понял, что мы не нужны». Далеко не каждый понял. Но почувствовали многие.

Обратили ли вы внимание: когда по телевидению показывают возвращение солдат с Великой Отечественной, на экране два-три давно примелькавшихся кинокадра? Пленки не хватило? Интерес утас?

Ошеломляющий контраст между гулом боев и мирной тишиной не нес благостного отдохновения. Да Бог с ним, отдохновением. Нам еще доставало сил, мы обязаны были быть необходимыми.



Когда этого не случилось, началась ностальгия по военным временам. Чем труднее, нелепее складывалась жизнь, тем отраднее представлялись эти страшные времена.

Слов нет, такой парадокс менее эффектен, чем оруэлловский: «Война — это мир». Но менее ли драматичен?

Хорошо, что об «афганцах» столько говорят. (Делают гораздо меньше.) Но как же мало думали и делали для вернувшихся с Отечественной войны! Бывших пленных из гитлеровских лагерей перегоняли в сталинские. Инвалиды выстаивали в долгих очередях за протезами, наподобие деревяшек, на каких ковыляла потерявшая ногу под Бородино. Самых изувеченных собирали в колониях, размещенных в глухих, дальних углах. Дабы не портили картину общего процветания.

От житейской неустроенности, от чиновного безразличия к тем, кто донашивал кителя и гимнастерки, фронтовые годы, когда обмундирование выдавали «по зимнему и летнему плану», рисовались все более привлекательными.

Вспоминая фронт, не перестаешь удивляться, насколько умелы и заботливы были наши командиры. Возможно, не все, возможно, по молодости мы их иной раз идеализировали. И все-таки наше давнее мнение оправдано.

Война заставила нарушить принцип негативного отбора кадров, господствовавший не только в армии и не только перед войной. Анкетным подходом пришлось пожертвовать. Бывший зек Рокоссовский удостоился маршальской звезды. Одного из предвоенных маршалов, прославившегося в борьбе с последствиями «шпионско-вредительской» деятельности Тухачевского, разжаловали в генерал-майоры. «Первый красный офицер» успешно провел операцию по аресту Героя Советского Союза Д. Павлова, но с фронтовыми операциями не справлялся.

Это наверху, на высотах, едва просматриваемых из солдатского блиндажа. Однако и внизу происходило нечто подобное. Плохие командиры обычно не удерживались. Демагогия упала в цене. Самодурствовать было рискованно. Бестолковость уважением не пользовалась, наград и внеочередных званий не сулила. После первого же боя из нашей дивизии откомандировали нескольких офицеров с довольно солидными званиями, с неплохим послужным списком мирного времени. Место откомандированных, место выбывших в бою занимали смелые, смекалистые парни. Многие из них начинали войну сержантами, солдатами. Иногда им удавалось закончить краткосрочные курсы, а бывало, получали первый «кубик», первую лейтенантскую звездочку без всяких курсов.

Не многие из них дожили до Победы, и не все дожившие нашли себе место в послевоенной армии. Принцип негативного отбора брал реванш. Приходилось заполнять аршинные анкеты. Поползли вверх пролазы, подхалимы, трепачи. Чем дальше, тем процесс этот шел неукоснительнее, увереннее и все реже давал сбои. Тому содействовала секретность, окутывавшая кадровые решения и перемещения в армии;

карьерная прыгть стимулировалась баснословными привилегиями для генералитета.

— Послушай,— спросил недавно мой однополчанин, начавший войну младшим лейтенантом и лет двадцать назад полковником уволившийся в отставку.— Послушай, чего они кичатся своей компетентностью? Словно не при них Руст приземлился на Красной площади. Словно не они отличились полководческим искусством в Афганистане. Словно не имеют отношения к «дедовщине» и прочим неуставным потребностям... Жуков не хвалился своей компетентностью. А эти, компетентные, опозорили нашу армию в Тбилиси и в Баку.

Признаюсь, я убрал некоторые выражения из пламенной речи однополчанина. Думаю, он кое-что запомнил. Иные сегодняшние язвы начались с армейских болячек еще военного времени. Не все тогда было так ладно, как видится нам сейчас. Почему-то писатели-баталисты, историки начисто забыли, например, о дополнительных пайках, полагавшихся на фронте лишь офицерам, о посылках, разрешенных после перехода армией государственной границы,— солдату разрешалось отправить одну посылку, офицеру — две. Чем выше начальство, тем меньше ограничений и больше возможностей обогащаться. «Трофейные» рояли грузили в кузова «студебеккеров», «трофейные» биде — в самолеты.

Призыв «Грабь награбленное!» как будто не значит среди антиутопических. Слишком он элементарен, механизм его воздействия удручающе прост. На протяжении всей послеоктябрьской истории государство не отказывалось от него, приобщая к экспроприации каждое входившее в жизнь поколение. Расцветивался лозунг по-разному: «Долой помещиков и капиталистов!», «Покончим с эппманами!», «Ликвидируем кулачество как класс!». Клич «Смерть врагам народа!» дополнялся строкой в приговоре: «С конфискацией всего имущества».

Когда пришел черед приобщать фронтовиков к экспроприации, были сделаны уточнения, соответствующие моменту. «Грабь награбленное» надлежало соответственно с чином и должностью экспроприатора. Идея кастовости армии созрела в голове Сталина при воздействии фюрера. Он же подсказал форму ее воплощения — посылки с фронта. Добро шло не в казну, но непосредственным участникам. «Пахан» хотел, чтобы все были «в замаске»? Желал надежнее заручиться поддержкой фронтовиков? Заодно получить компрометирующий матерьяльчик на каждого генерала, охваченного трофейной лихорадкой?..

Было бы недостойным предполагать, будто фанатичный сталинизм иных моих сверстников порожден «посылочным» великодушием Верховного. Было бы непростительно забывать: пресловутая «сталинская забота о человеке» строилась нередко лишь на подачках то тем, то другим слоям за счет всевозможных врагов. Во враги облыжно зачислялись отдельные личности, целые классы и народы. Их достойные переходило в чужие руки. Но редко кому оно приносило счастье и неизменно сеяло зерна грядущих конфликтов. Из всех видов военного дела Сталин луч-

ше всего владел саперным — мастерски закладывал мины замедленного действия.

На фронте девиз «Грабь награбленное!», впрочем, срабатывал не совсем безотказно. В стрелковой роте, в орудийном расчете обычно было не до посылок. Не всех офицеров соблазняли «трофеи», которые следовало брать в квартирах, особняках, крестьянских домах Польши, Чехословакии, Венгрии, Югославии, Германии. Командир нашей дивизии генерал А. Я. Киселев открыто презирал «барахольщиков». Помню разговор двух немолодых — по тогдашним нашим представлениям — политотдельцев, их тревогу: не приведет к добру кутерьма с посылками, «трофейный» ажиотаж...

Преувеличивали они опасность или нет? Но тяга к «сладкой жизни» — за счет ли «трофеев», за счет ли государства — усилилась среди тех, кто мог воспользоваться своим положением, удовлетворяя неизменно растущую потребность в такой жизни. Вряд ли они в состоянии — не на словах, конечно, — проникнуться сегодня нуждами офицеров, ютящихся в гостиницах и общежитиях, снимающих комнаты и углы. Как строго засекреченные объекты государственной важности, охраняют они свои сказочные дачи с бассейнами, саунами, теннисными кортами. Их виллы и охотничьи угодья влетают в копеечку ничего не ведающим налогоплательщикам. В том числе и ветеранам, поныне ждущим сносного жилья.

Даже когда тайное стало частично явным, хозяева «секретных объектов» не намерены поступиться «завоеванным». Они любят рассуждать об офицерской чести, но не испытывают укоров совести. Любят рассуждать об офицерских традициях, но забывают незыблемое правило: причастен, пусть даже непрямо, к злоупотреблениям, виновен в серьезных упущениях — уходи в отставку. Не бросают ли они тень на ту часть нашего генералитета, которой чужды барство и милитаристская демагогия? Не стимулируют ли они — вольно или невольно — молодых толковых офицеров к увольнению в запас?

Пребывание в «зоне комфорта» позволяет свысока поглядывать по сторонам, наделяет самоуверенностью и апломбом, доводящими иной раз до курьезов, до потери чувства реальности.

С трибуны Съезда народных депутатов командующий одним из округов предложил ввести для Президента курс трехмесячной армейской выучки при Академии Генштаба. Неужели всем сложностям современной стратегии, оперативного искусства и тактики можно овладеть за срок школьных каникул? Тогда на кой ляд нужны наши академии, училища? Может быть, генерал имел в виду строевую подготовку, великую мудрость, какую открыл нам когда-то сержант, уверявший, что главное — научиться тянуть ногу и усвоить команду для рук: «Вперед до прыжки, назад до отказа!»

Народные депутаты не вняли совету своего коллеги с генеральскими погонами. Даже как-то непочтительно посмеялись.

Куда отраднее слышать зрелые, смелые речи офицеров — народных депутатов, понимающих, чем отличается строительство Вооруженных Сил от строительства собственных вилл, чем отличаются подлинные интересы страны и армии от кастовых интересов иных шибко компетентных военачальников. Полемика о будущем армии выплеснулась наружу. Большинство ветеранов, особенно тех, чьи сыновья и внуки служат в полках и дивизиях, насколько мне дано судить, на стороне приверженцев армейских реформ, выступающих куда более ответственно, смело, доказательно, нежели их оппоненты.

Люди фронтового поколения отдали свою молодость армии, доказали преданность и неизменную любовь к ней. Однако нынешняя армия не совсем та, в какой они некогда служили. Дело не в ракетах, электронике, технических и организационных новациях. На ту, на их армию возлагалась великая, благородная миссия. Она с ней справилась, кровью оплатив свою верность Отчизне. (Несправедливо упрекать нашу армию за то, что в обозах везли какого-нибудь Ракоши или, пользуясь ее победами, в освобожденных странах власть передавали марионеткам. Долог, кровав был наш путь в майскую Прагу сорок пятого. Мы его проделывали не ради того, чтобы советские танки спустя двадцать три года ворвались в мирную столицу Чехословакии.)

Нас учили не только «тянуть ногу». Еще проходя «курс одиночного бойца», мы усваивали: моральный уровень войск зависит от их предназначения, от задач, порученных им. Этот тезис подтвержден всей последующей историей. Хотя подчас доказывался от противного. Как бы ни пытались приукрасить афганскую войну, нравственный урон от нее еще долго будет давать знать о себе.

Однополчане, с какими я встречался в последние годы, в этом единоклубны.

Смешно надеяться, будто к голосу ветеранов-пенсionеров сейчас прислушаются. Однако виной тому не только отрицание всяких авторитетов, неумение вообще слушать кого бы то ни было.

Люди старших поколений, перенесшие столько невзгод, острее ощущают унизительность своего житейского и общественного положения. Но один из горьких парадоксов в том, что сами они немало сделали, провоцируя пренебрежение к своему слову, создавая о себе мнение как о консерваторах, способных жить вчерашним, порядком приукрашенным днем.

Кому известно, что в самую трудную пору «Новый мир» А. Твардовского получал множество писем в поддержку от участников войны? По сей день у нас не воссоздана эпопея фронтового генерала-правдолюбца Петра Григоренко. Никому не придет в голову считать седовласых людей с орденскими планками на заседаниях и митингах «Мемориала». Зато ленинградская преподавательница химии не устает козырять письмами ветеранов. Зато всем памятны ветеранские послания, клей-

мившие «литературного власовца» А. Солженицына, «изменника» А. Сахарова, всевозможных «ревизионистов», «отщепенцев» и т. п.

На склоне лет особенно труден всякий выбор, а униженность в сочетании с самолюбием не слишком помогает избавиться от самообмана. Трудно поступить по принципам, даже когда годами накопленный опыт убеждает: в них столько же правды, сколько в заповедях: война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила. Даже когда видишь, кто и как пользуется ими.

Наша верноподданная пропаганда отвела ветеранам вполне определенную роль хранителей «устоев», блюстителей «идейной чистоты». Нашла применение так и нереализованной активности вчерашних фронтовиков. А многие эту роль с готовностью приняли, вошли в нее. Дурную шутку сыграла с ними постоянная склонность больше смотреть назад, нежели думать о будущем. Ностальгия по окопной молодости, по завидной фронтовой ясности вызывала неприязнь к противоречивым новшествам, шараханьям из стороны в сторону, к попыткам заменить культ обожествляемой личности культом другой личности, вызывающей откровенное презрение. Любому посягательству на догмы противопоставлялась собственная слепая и нерушимая вера в единожды обретенного кумира. Эта вера, по моим ограниченным, не претендующим на абсолютность наблюдениям, всего сильнее у тех, кто преуспел после войны и кому не удалось получить образование. Попытки переубедить их напрасны. Зная это, на дружеских встречах мы избегаем зряшных дискуссий.

В свое время софროновский «Огонек» напечатал письмо, объявлявшее повесть В. Быкова «Круглянский мост» клеветнической. На правах старого знакомого я спросил одного из подписавших это письмо, как он мог поставить там свое имя?

— Так надо, — твердо ответил он.

— Ты читал эту повесть?

— Это неважно. Так надо.

Кому — надо? Ради чего — надо? Моему собеседнику были известны ситуации не менее ужасные, чем те, которые описал Василий Быков. Но что с того, если соображения высшей политической целесообразности требуют пренебречь правдой? Он пожертвует ею, испытывая горделивое чувство собственной причастности к большой политике. Да, именно он причастен, а не сочиняющие всякие «Круглянские мосты», ратующие за какие-то права человека, открывающие архипелаг ГУЛАГ...

Большая политика обернулась мелкой ложью. Но до чего трудно признаться себе в этом! Лучше уж привычно цепляться за «так надо», не желая замечать, что эта роль стала не только постыдной, но и жалкой, комичной. Устой безвозвратно рухнули под натиском жизни. Остается тешить себя красивыми вымыслами, отдавая предпочтение дурной литературе, ибо авторы-циники льстят читателям, превращая в сусальный

миф жестокие фронтовые годы нашей жизни. Годы, действительно оказавшиеся лучшими.

В том-то и беда, не предугаданная Оруэллом, Замяτιным, Хаксли. Жители оруэлловской Океании или Прекрасного нового мира, воссозданного Хаксли, сами создают свои утопии и до последнего держатся за них.

Бесконечно печальны, несказанно обидны не только совпадения нашей жизни со знаменитыми антиутопиями, но и ее горестные «преимущества» перед ними. Мои сверстники предпочитают о том не думать, не отравлять мрачными мыслями и без того тяжкие свои последние годы. Тем более что это трагедия не одного лишь фронтового поколения...

Так чем порадуем нас в праздничном заказе ко Дню Победы?

1990

## К ВОПРОСУ О БЕЛЫХ ПЕРЧАТКАХ

*Вопрос пробуждения совести  
заслуживает романа.  
Но ни романа, ни повести  
об этом не напишу.*

*А. Межиров.*

Тем более не напишу я. Ограничусь заметками, продиктованными тревогами наступившего дня. Менее всего хотелось бы провоцировать споры, и без того сыты ими по горло. Но и рассчитывать на единодушное одобрение не приходится. Хотелось бы, однако, не быть истолкованным вкривь и вкось, заподозренным в тайных умыслах.

Верю: Октябрьская революция задумана и совершена во благо людям. Не верю, что, воинственно отвергнув мораль, она могла принести благо. Пореволюционные годы делали первоначальную цель еще более иллюзорной, словно бы высмеивая «наш девиз боевой»: равенство, братство, свобода. Стране удалось восстановить разрушенное двумя войнами хозяйство. Но разрушение души продолжалось. И привело к дню сегодняшнему — развал экономики, разрыв едва ли не всех связей, удерживающих человеческую общность...

Третий час люди переминаются с ноги на ногу перед дверью магазина и с вымученной надеждой судачат о военно-транспортных самолетах бундсвера: глядишь, доставят сгущенку и колбасу.

А у меня в памяти другая картина: середь бела дня осенью сорок первого немецкий самолет, безбоязненно реюющий над Москвой, бросает осколочную бомбу на мостовую перед Центральным телеграфом, и оче-

редь, столпившаяся у «Диеты», что напротив телеграфа, превращается в кровавое месиво...

Как все это сочетать? Откуда щедрость, великодушие у немцев, шлюющих нам посылки, у немцев, проигравших войну, жестоко поплатившихся за поражение? Откуда наш жалкий жребий?

Избавьте от пятикопеечных банальностей о немецком прилежании и российской безалаберности. Не в том ли ответ — пусть и не исчерпывающий, — что немцы сумели отречься от наследия Гитлера, сознавая не только его, но и собственную вину каждого, нашли силы для раскаяния, самоочищения и возродились к новой жизни? Отнюдь не райской, однако вполне человеческой не только в смысле насыщения желудков.

А мы извечно ищем виноватого, ищем, на ком бы сорвать злость, чью бы кровь еще попустить. Как то было в Германии, когда фюрер рвался и пришел к власти.

Продержался он, правда, десяток лет и под всеобщие проклятия отправился в «лучший мир». У нас тоталитаризм господствовал десятилетиями, держится и поныне, въелся в поры, отравил кровь, затуманил взор, искалечил сознание.

Гитлер был не в пример откровеннее своего кремлевского «заединщика», совесть почитал химерой, апеллировал к низменным инстинктам, «вредные» книги держал не в спецхране, а сжигал на площади. Идеология большевистского тоталитаризма сберегла одеяния, сшитые в 1917 году и того ранее. Спесиво отбросив человеческую мораль, продолжала размахивать стягами с притягательными лозунгами. Человек задышался, но пел — по простоте ли душевной, по привычке ли, из страха ли, — что он исключительно «вольно дышит». Кролики, над которыми осуществлялся эксперимент, мы жизнь прожили по законам лжи и приспособления к ней. Одни приспосабливались с энтузиазмом, другие — со скрипом зубным, большинство — повинувая стадному чувству. Аморальность была естественна, поскольку мораль публично похоронили, вбили в могилу осиновый кол — не надобна она для светлого будущего, чужда ему, враждебна. Так и шествовали к вышеупомянутому будущему, ведомые пастырями, все глубже опускавшимися в грязь.

Сейчас нередко вспоминают о героической битве «ума, чести и совести» с Ахматовой и Зощенко. Но забывают, чем кончили ветераны единоборства, обличители «пошляка» прозаика и поэтессы — «полумонахи-полублудницы». Попались на забавах в укромном борделе, учиненном на паях. Академик, долго сеявший разумное, доброе, вечное, покинул руководящий кабинет в Центральном Комитете и отправился досеять в провинцию, доктора филологии, возглавлявшие ратные кампании и походы, вынужденно ушли в тень.

Почему-то борцы за идейную чистоту, за чистоту рядов, за самые — выше некуда — цели попадают на самой — ниже некуда — мерзости. Распутство, уголовщина, загородные особняки, отгроханные за счет казны. Разлагавшаяся элита заражала все вокруг. Чему же удивлять-

ся, если теперь, когда исчез страх и государство отказалось от террора как главного средства управления подданными, выплеснулась наружу грязь, копившаяся долгими годами? Вседозволенность, дарованная хозяевам жизни, стала всеобщим достоянием. Свобода!

С началом перестройки упрямо возникла проблема нравственности. В лагерях томились узники совести, длилась грязная война в Афганистане, несмысленным позором легла ссылка Андрея Сахарова. Какая же перестройка, покуда делятся такие преступления! М. Горбачев, явив мужество и человечность, сломав сопротивление охранителей, положил им конец. Прозвучали слова о примате общечеловеческих ценностей. Но сколькими идеологическими оговорками они сопровождались! Идеологические предрассудки вступали в противоречие с принципами гуманизма. Через несколько дней после Чернобыля народ беззаботно ликовал на первомайских площадях...

Не приравниваю двадцать девятый год или тридцать седьмой к семьдесят шестому, когда взорвался черныбыльский реактор. Но яснее ясного: Чернобыль не просто техническая авария, это неотвратимая закономерность, если угодно — тридцать седьмой в условиях гласности. Можно кричать о бедствии, но нельзя ничего добиться. Всевластный чиновник убеждает население в безопасности и тихонько вывозит своих чад из зоны заражения. Правду о радиации легче узнать из сообщений зарубежного радио, чем из речей, звучащих в Москве, Киеве, Минске. Помощь не поступает по назначению, где-то таинственно исчезает. И как всегда, нет виноватых.

Система расписалась в своей глубокой аморальности. Но продолжает хорохориться, признав ошибки, ищет, на ком бы отыграться. Объявляет, например, войну спекулянтам, которых сама же порождает ежедневно, ежедневно и в массовом масштабе.

Однако неверно, по-моему, отождествлять систему только лишь с партийно-государственным аппаратом. Она преуспела, включила всех нас в безнравственную практику, наделила стойкими «пережитками социализма».

Иные торговые работники, эмигрировав за границу, попали впро�ак. С грехом пополам освоив чужой язык, не в силах были избавиться от «социалистической» привычки обвешивать и обсчитывать, от привычки, на коей держится наша торговля. Там, у них, это считается пороком — немедленное увольнение и «черный билет». Звериные законы капитализма...

Смеяться тут или плакать? Но если б в нашем музее выставили... нет, не «плачущего большевика», если выставили б человека, который никогда не пользовался благом, не прибегал к помощи спекулянтов, не приобретал чего-либо из-под полы, не переплачивал бы, не приносил бы «нужному» персонажу презентов-дающих, — от посетителей в таком музее не было бы отбоя.



Это на бытовом уровне, убийственно уравнивающим «левых» и «правых», всех нас.

Боюсь, на уровне, как бы выразиться, интеллектуально-общественном обстоит примерно так же: большевистская непримиримость, групповая пристрастность, деление на «своих», подлежащих безоговорочному одобрению, и на «чужих», подлежащих безусловному осуждению. Единомышленник с нравственным изьянцем дороже просто порядочного человека, не спешащего тебе поддакивать и аплодировать. Трудно, кроме того, сказать, кто держит первенство в столь распространенном сегодня «перестроечном карьеризме».

Не верю в позицию «над схваткой», не изображаю из себя нейтрала. Но именно причастность к лагерю демократии, переживающему не лучшие свои дни, заставляет придирчиво смотреть на стоящих поблизости.

Можно себя утешить: «правые» хуже. Цели у них обычно ретроградные, средства — сомнительные, они способны непростительно распалить национальные чувства до стадии, заглушающей совесть. Среди них больший процент ущербных, зоологически озлобленных. Ну, так ликовать, что среди «левых» таких меньше?

Пусть каждый думает, как хочет. Но никто не может не думать о ныне творящемся, не понимать: время все-таки не для бенефисов, пустякового соревновательства, не для ярмарки уцененного тщеславия.

Одно объективное обстоятельство определило слабость «левого» фланга. Здесь собрались преимущественно сменившие вехи. Одни в большей мере, другие в меньшей. Одни подготовлены прежней своей судьбой, личным опытом, у других только что раскрылись глаза, для одних перестройка — дело жизни, последний шанс, для других — средство самоутверждения.

Глупо упрекать людей: вчера они думали, говорили так, сегодня эдак. Если бы немцы как народ не поступились принципами, какие приняли в начале тридцатых, за какие воевали в сороковые, им бы не возродить свою родину, не объединить ее, не занять подобающее место в цивилизованном мире.

Однако, выбрав новое кредо, сам человек еще не претерпевает чудодейственных изменений. Чаще всего он таков, каким был прежде, со всеми своими привычками, стереотипами, комплексами. Можно по-новому думать, справедливо обличать отвратительное в старом и непроизвольно его копировать. Внутренняя-то суть осталась прежней. Либо чуть-чуть откорректирована.

Естественно, что в наши дни многие, столько узнав о стране, ее давнем и недавнем прошлом, о мире, по-новому глянув окрест, меняют свои воззрения. Кто-то выходит из КПСС, предпочитая беспартийность или другую партию, кто-то обращается к церкви, кто-то ищет прибежище в индийской философии, кто-то мечется, завивает горе веревочкой. Если в гражданскую войну нелегко давался выбор, то теперь это во сто

крат труднее. Больше замороченность, деморализация, сильнее порыв к крайностям, заносит на крутых поворотах.

Ну, вышел из партии и вышел. Нет, ему этого мало. Отныне он не подает руки своему товарищу за то лишь, что тот не положил партбилет. Удивительная потребность каждым своим шагом наступать кому-нибудь на ногу, усиливая всеобщее озлобление.

Вчерашний пламенный интернационалист однажды просыпается не менее пламенным националистом, злобно водя глазами: кто здесь не коренной, не чистокровный, иноплеменный?!

Воинствующий безбожник делается не менее воинствующим идеалистом. Что уж вовсе нелепо.

Легко быть проповедником, трудно быть праведником. Усвоить мысль, на которой настаивал о. Александр Мень незадолго до гибели: и пост, и аскеза, и подвиг смирения могут стать причиной гордыни, греха, человеческого падения.

В наши дни обозначился новый жанр — рассказ о себе как великомученике. Одному режиссеру мешали снять фильм, картину другого не пустили в прокат, у поэта из сборника выкинули строфу, у драматурга вырубili сцену, у прозаика в романе — главу. Мне, автору трех книг, набор коих был рассыпан, вняты такие сетования. Но наши невзгоды и неприятности меркнут подле страданий людей, брошенных за лагерную проволоку, в психушку...

Сочувствующих «Мемориалу» нельзя путать с жертвами строя. Но у сочувствующих обычно имелось свое отношение к строю, и они не чета приспособленцам на все времена.

С общечеловеческой моралью не шибко получается, а извечно человеческие слабости не идут на убыль. Кое-кто убежден, что перестройка затеяна, дабы удовлетворить его тщеславие, компенсировать за кое-какие неудобства прежних лет.

Все согласились — мы отмечаем вопрос: «Чем вы занимались до восемнадцати лет?». Но прошлое каждого из нас не уходит в песок, не растворяется, оно упрямо присутствует и в сегодняшних причитаниях, которые коробят своей, мягко выражаясь, неуместностью. Не столько пробуждается совесть, сколько воспаляется самолюбие. Эта воспаленность дает себя знать и в начинаниях вполне уместных.

Сегодняшний день в руках всех нас, в большей или меньшей мере «вчерашних».

При различии точек отсчета «левые» и «правые» дружно спихивают с пьедестала недавних литературных кумиров. И правильно поступают. Литература не выставка с предостерегающими бирками «Не прикасаться!». Едва ли не каждая вторая литературно-критическая статья развенчивает уже развенчанных временем советских классиков.

В свое время официальная пропаганда, оправдывая сталинский террор, козыряла чеханной формулой Горького: «Если враг не сдается, его уничтожают». Сегодня только самый ленивый не вспоминает — к месту

или не к месту — о грехе Горького. Публикация «Несвоевременных мыслей» ненадолго прервала эту монотонию. И пошло, поехало опять.

В запале оправданного ниспровергательства не убить бы чуткий интерес к сложным писательским судьбам, к мучительной подчас противоречивости творчества, подразумевающего в исследователе умение пользоваться не одним лишь скальпелем.

Есть у этой проблемы и еще одна грань. Иной раз, читая такую статью, ловишь себя на мысли: а что бы писал ее автор, живи он в 20—40-е годы? В тех случаях, когда лично его знаешь, по профессиональной необходимости помнишь написанное им лет пятнадцать — двадцать назад, не забыл, как он угодничал перед редактором-ретроградом, как вступал в партию с откровенным намерением занять пост, ответ лежит на поверхности.

Я мысленно перебрал авторов в другую эпоху с нехитрой целью — пусть бы и они, помня о своем не столь уж отдаленном прошлом, о своих, так сказать, слабостях, держали это в уме, работая над очередной обличительной статьей. Стоит ли тратить столько темперамента на доказательство того, что уже без тебя успели доказать, что в общем-то очевидно старшекласникам!

Так вот о старшекласниках. Правда, не сегодняшних.

Десятилетия три назад мне попались школьные сочинения о Николае Островском и романе «Как закалялась сталь». Ребята не оставили живого места ни от героя, ни от автора. Помогла им в этом молодая учительница-энтузиастка, окрыленная XX съездом. Благодаря ей школьники куда лучше, чем составители учебника, разобрались в достаточно примитивном произведении, его убогой философии.

Учительница гордилась своими воспитанниками, и ее несколько удивил мой вопрос: растолковала ли она, что роман написан слепым, полупарализованным человеком, испытывавшим несказанные мучения. Так он пытался бороться с этими муками, с надвигающейся смертью. Быть может, у пышущих здоровьем отроков и отроковиц следовало бы пробудить не только холодно-рассудочную беспощадность, но и человеческую снисходительность, чувство жалости, сострадания.

Учительница возразила: роман Островского сам возбуждает жестокость.

Верно. Но если в ответ на жестокость, проповедуемую в беспомощной книге, возбуждать ненависть к ее несчастному автору, далеко ли мы уйдем?

Тогда вопрос мой звучал риторически. Сейчас видно, к чему мы пришли в своей ветхозаветной жажде отмщения: око за око, зуб за зуб. Все уже едва не ослепли, зато зубы в пору класть на полку.

Новое мышление гораздо легче освоить, чем в действительности признать главенство общечеловеческих ценностей, неотъемлемые права человека. Новое мышление, провозглашенное М. Горбачевым, побежда-

ет на международной арене и терпит очевидные поражения на родине. За границей М. Горбачеву верят гораздо больше, чем дома.

Меж тем рейтинг Б. Ельцина не падает. Хотя и при его руководстве Верховным Советом республики положение России продолжает стремительно ухудшаться.

По-моему, это не столько политический, сколько моральный кризис Центра или Коммунистической партии, сохраняющей практическую власть, уже недостаточную, чтобы остановить движение по наклонной плоскости, но достаточную, чтобы помешать это сделать «определенным силам», как любит выражаться наш Президент. (Политический словарь партийного функционера помогает понять его — следовательно, и нашу — драму. Он изменил своему классу — номенклатуре, но не порвал с ним, возможно, не мог порвать и остался заложником.) А Б. Ельцин вступил в открытый бой с номенклатурой, прилюдно потерпел неудачу, подвергся поношениям. И все это лишь укрепляло его репутацию борца за правду. Раз номенклатура против него, мы — за. Такая вот логика. Люди ставят свое будущее в прямую зависимость от нравственности лидера и уж потом от его программы.

Многие выводы напрашиваются из столь знаменательной ситуации. Один из первых — необходимость для демократического фланга достойного нравственного уровня, его влияние напрямую зависит от морального облика лидеров. (Из этого, разумеется, не следует, будто программа, практическая деятельность второстепенны.)

Новое мышление нуждается в этическом обеспечении, в подходе к лицам и явлениям с той мерой моральной взыскательности, от которой мы отвыкли (или вообще к ней не привлекали)...

Воспоминания академика Г. Арбатова «Из недавнего прошлого» приоткрывают завесу над политической кухней, ароматы которой долго наполняли воздух. Понадобилось определенное мужество, чтобы человеку, орудовавшему здесь, пусть и не на первых ролях, рассказать об этом.

Более всего и с безусловной симпатией, не лишенной критичности, Г. Арбатов пишет о Ю. Андропове, под чьим руководством ему довелось работать в ЦК. У Ю. Андропова были человеческие свойства, выделявшие его на фоне дремучего окружения. Но эти свойства не препятствовали продвижению наверх, участию в самых кардинальных решениях. Одно из которых — ввод наших войск в Афганистан. Поведение двух участников сговора объяснено лаконично: «Брежнев из-за болезни, Устинов из-за политической ограниченности. Но как могли совершить такую ошибку Громыко и особенно Андропов, — этого я не в силах понять».

А я не в силах понять, отличается ли ошибка от преступления. Возможно, попытайся Г. Арбатов оценить действия А. Громыко и Ю. Андропова в категориях морали, его недоумение уменьшилось бы. Но о какой морали можно говорить применительно к Громыко, одинаково ревностно служившему Сталину, Хрущеву, Брежневу и в дни Ка-

рибского кризиса, когда мир приблизился к бездне ядерной войны, уверявшему Джона Кеннеди: на Кубе нет советских ракет. Не станет же Г. Арбатов утверждать, будто внешняя политика Громыко отвечала истинным интересам народа, родины. Но Громыко автора не занимает, он сосредоточен на Ю. Андропове — фигуре и впрямь не лишенной двойственности. Но надо ли ее преувеличивать, когда речь идет об участнике позорных акций?

Ю. Андропов подал голос за интервенцию в Чехословакию в 1968 году. В мемуарах это объясняется синдромом нетерпимости, сложившейся у Ю. Андропова после венгерских событий 1956 года.

Венгерское кровопролитие было достаточно серьезным, и причастность к нему Ю. Андропова вне сомнений. Степень причастности мемуарист не определяет. На Западе о том опубликовано немало материалов, Г. Арбатову это известно лучше, чем мне. Всем нам известна — пусть еще и недостаточно — деятельность Ю. Андропова на посту председателя КГБ. При нем преследовали, гноили в тюрьмах диссидентов, устраивались провокационные процессы, «таинственные» убийства, расцвели карательная психиатрия, подглядывание, подслушивание, перлюстрация.

Мало всего этого, чтобы разгадать «загадку» Андропова, благословившего советское вторжение в Афганистан?

Никакой загадки, думается, нет. Есть наше привычное представление: добро и зло — понятия относительные. Разумеется, Андропов в чем-то выигрывает подле своих соратников. Он заботится не только о собственной карьере (о том, что заботился и о ней, Г. Арбатов не скрывает), старался, уже смертельно больной, что-то сделать для страны, и мы, не избалованные подобным, заставляем себя забыть о поступках, не подлежащих оправданию. Разве беспочвенны призывы к суду над виновниками афганской авантюры, за которую расплачивались кровью отнюдь не близкие ее зачинщиков?

Кому-то покажется неуместным применение нравственных критериев при оценке политической деятельности. Но почему, собственно? Потому лишь, что мы привыкли к ее безнравственности?

Да, слышаны: политика не делается в белых перчатках, она — не тротуар Невского проспекта. Но обязательно ли делать ее руками по локоть в крови?

Политические преступления отличаются от уголовных, между прочим, и тем, что преступник не ворует серебряные ложечки и не шарит по чужим карманам. Бывает добропорядочным семьянином, отцом для подчиненных, лично неприхотливым человеком и не зарится на казенное добро. Когда с мертвого Гимmlера стащили сапоги, то увидели штопанные носки; в эсэсовских казармах тумбочки не запирались — кражи были исключены.

Читая мемуары Г. Арбатова, с горечью думаешь, насколько прочно у нас политика обособлена от этики.

Предвижу возражения: хорошо сегодня об этом рассуждать, а они действовали вчера. В некоторых статьях и речах сейчас подыскивают оправдание соколам из бериевского гнезда, настаивают на возврате «доброе имени» брежневским сподвижникам, еще недавно ходившим в покровителях мафии, казнокрадах и лихоимцах.

Это поветрие подготовлено прежде всего непоследовательностью перестройки. Смещение с высоких постов, удаление «геройских» бюстов совершалось укромно, стыдливо. С одной стороны, обвинения, предъявляемые прессой, читателями; их половины вполне достаточно, чтобы виновный созерцал небо не с террасы барского особняка, а через тюремную решетку. С другой — сохранение если и не прежних привилегий, то многих явно незаслуженных льгот, высокой пенсии и т. д. Не знаешь, как вас теперь называть, товарищ (господин) Н., — мошенник или жертва закулисных интриг, взяточник или мученик? Одни полагают — мошенник, другие избирают Г. Алиева народным депутатом, рассказывают о благодеяниях Ш. Рашидова, Д. Кунаева.

Суд, необходимый в правовом государстве, не состоялся. Как не состоялся он — пусть и условно — над Сталиным, Молотовым, Кагановичем, Вышинским, организаторами процессов, геноцида, расстрелов. Неотвратимого наказания не последовало. Такая неотвратимость оздоровила бы атмосферу, подняла бы цену человеческой жизни и, вероятно, как-то воспрепятствовала разгулу преступности.

Принцип: с сегодняшней точки зрения дурно, а со вчерашней — ничего дурного — плохо согласуется с нравственными нормами.

В одно и то же время Солженицын призывал жить не по лжи, а по наущению Андропова стряпали гнусные процессы. Выходит, тогда Солженицын был не прав, прав был Андропов. Сегодня надо их поменять местами.

Любопытно, куда мы придем при таких рокировках?

Андрей Дмитриевич Сахаров доказал: политическая мудрость и нравственная взыскательность — не антагонисты. Наоборот. В этой убежденности он черпал силы, отстаивая идеи переустройства общества на новых основах, возрождения личности.

Но вспомните: едва Сахаров поднимался на трибуну Съезда народных депутатов или Верховного Совета, в зале нарастала волна неприятия, у председательствующего обострялось чувство времени, и он нетерпеливо ждал кнопку электрического звонка. Не войдет ли в историю первый Съезд народных депутатов СССР как съезд, где «захлопывали» академика Андрея Сахарова? «Захлопывали» оратора, который убеждал: экономическое процветание и права человека связаны между собой, нищий не способен быть гражданином, система, обрекающая на нищету, безнравственна...

Чему удивляться, коль еще не преодолена зона, отмеченная затрепанными флажками: «по заданию ЦРУ», «нам подбрасывают», «вода на

мельницу», — коль великий архитектор перестройки не избавился от цепких объятий идеологической догмы, многократно демонстрировавшей свою порочность. Не отмахивался бы самоуверенно от советов Сахарова, им же самим начатое дело пошло бы — не приходится сомневаться — не в пример лучше.

Отношение к Сахарову — лакмусовая бумажка для человека, для общественного направления, для печатного издания. Кампания по дискредитации Андрея Дмитриевича усиливается, в ход пускают специально рассекреченные разведдонесения из неприступного архива КГБ. Идет фронтальная атака на демократическое движение, некоторые газеты не брезгают дурно пахнущими статейками, щедро рассылаемыми ТАСС. Какие только сплетни и слухи не распространяют о депутатах-демократах, об органах власти, где они преобладают. «Лихая им досталась доля». Они оказались у разбитого корыта. Разбили его за десятилетия неограниченного владычества партаппарата, обкрадывавшего народ. (На жаргоне номенклатурные должности назывались должностями «с корытом» — спецстоловая, «с авоськой» — в придачу паяк домой.) Теперь вечерние хозяева жизни не пренебрегают саботажем, суют палки в колеса новым руководителям, улюлюкают вслед.

Не надо подозревать каждого аппаратного работника в злонамеренности и не надо умиленно взирать на каждого нового руководителя. Новые допускают ошибки, промахи, дурацки конфликтуют между собой, терпят неудачи — и не всегда по вине предшественников. Но не приведи Бог им споткнуться, проявив нравственную неразборчивость, упиваясь властью. Прощения не будет и, думается, не должно быть. Полозковым равнодушно отпускают грехи, за десятую долю которых распнут сторонников Собчака или Попова; их неподкупность — едва ли не последняя надежда.

В нравственном возрождении нуждается все общество, поддержки достойны любые шаги в этом направлении, безотносительно к тому, кем они сделаны. Жизнь убеждает: чаще делают их люди с демократическими убеждениями. Хотя само понятие «демократические убеждения» достаточно расплывчато. Но такая расплывчатость не должна мешать этической определенности. Эта определенность способна побудить к поступкам, вызывающим досаду и горечь. Уходят в отставку Г. Явлинский, Э. Шеварднадзе, уходит в тень А. Н. Яковлев, уйдут еще многие. Но двумя руками держатся за подлокотники руководящих кресел обанкротившиеся деятели, нагло рвутся к власти, к доходным местам специалисты, умеющие делать лишь собственную карьеру, сопровождая это неперменными возгласами о спасении Отечества.

Нравственная взыскательность — не благое пожелание, но властное веление дня, когда нарастает зловещая угроза справа, а рынок уже успел показать свои острые зубы, возбудить ажиотаж, настырную оборотистость, предпринимательскую суету там, где не худо бы побольше спокойствия, человеческого достоинства.

Американцы говорят: мы любим Бога, остальное — деньгами. Мы Бога не шибко любим. Я не о воистину верующих, но о тех, кто толпой поспешает к обедне, как недавно в культпоход в антирелигиозный музей. Но деньги любят все. Многие — безумно. Особенно зелененькие доллары.

Что за напасть: культивировали бескорыстный энтузиазм, теперь умиляемся до слез, взирая на любого преуспевающего пройдоху; держались за социалистическую веру в непорочное зачатие — достигли такого распутства, рядом с которым лондонское Сохо и парижская Сен-Дени — детский садик... Когда стрелка компаса так долго удерживается у отметки «Идиотизм», не надо, вероятно, удивляться, что потом она лихорадочно вибрирует у отметки «Позор».

Как бы в нынешнем вселенском ажиотаже не потерять себя, не забыть, ради чего живем. Тревога, к сожалению, небеспопеченна, небезосновательны упреки, брошенные людям, многим из которых симпатизирую. Список претензий нетрудно продолжить. Уже не удивляешься, услышав об издателем деятеле: «Прогрессивный мужик, правда, берет взятки». Вспоминается давняя аттестация на моего сослуживца-офицера: «Идейно выдержан, морально устойчив, допускает рукоприкладство, буен во хмелю»...

Не читаю мораль — не имею ни права на то, ни желания. Хочу лишь напомнить: дело идет не о чем-то личном благополучии, не о спасении чьей-то души (хотя и это важно), но о спасении страны, общества, идеалов демократии. Не осуществляются идеалы, все полетит в тартарары. А скомпрометировать их проще простого.

Признаюсь как на духу: побаиваюсь, не опозорился бы кто-нибудь из тех, с кем солидарен, не подставился бы, не всплыло бы вдруг какое-нибудь не слишком приглядное дело. Мнительность? Да нет же. Попытка глянуть со стороны.

Прилежно, как и все мы, читая периодику, отдавая предпочтение изданиям демократической ориентации, не во всем и не всегда соглашаясь, иной раз не могу взять в толк, откуда временами этическая беззаботность, пренебрежение неписаными правилами.

Уже ясно было: вирус СПИДа выращен отнюдь не в ретортах лабораторий ЦРУ, а иные вполне прогрессивные еженедельники продолжали цепляться за вздорную версию. Наконец во всеуслышание авторитетно заявлено: не рука ЦРУ. Так найдите в себе мужество, проявите честность и признайтесь: мы вводили читателей в заблуждение.

Какое там, политическая текучка смывает вчерашний газетный, журнальный номер, надо спешить, редакторам не до мелочей.

Можно относиться с уважением к идеям, которые не приемлешь. Но нельзя испытывать уважение к нечистому на руку оппоненту, зная: он вечно шельмует, занимается подтасовками. Когда демократическое издание предоставляет слово такому автору, вступает с ним в глубоко-мысленный спор, вместо того чтобы уличить в жульничестве, оно де-



монстрирует не столько приверженность к плюрализму, сколько нехватку брезгливости. Вряд ли следует становиться на одну доску с неразборчивым в методах спорщиком. Плюрализма совести не бывает.

В том, что относится к этике, мелочей нет, поблажки здесь неуместны, оправдывать их глобальностью текущих проблем не стоит.

Может, если не подыскивать каждый раз оправдания, любая бессовестность из предмета гордости — явной у мафии, скрываемой у карьеристов — станет позором? Человек не захочет и сам идти против совести. Если ее ему не хватает, то и власти, благополучия не видать.

Донельзя хотелось бы верить, что такое достижимо. Не в стерильно чистом виде, не в зыбком царстве маниловских мечтаний — в обычном для нормального общества варианте, доступном каждому грешному.

С этим, как и со многим другим в настоящих заметках, далеко не все согласятся. Автора вполне удовлетворит, если в тягостной колготе наших дней кто-то всего лишь задумается над сказанным им.

Политизация общества, лишенного нравственных устоев, безмерно опасна. Устой сами собой не образуются, в посылке либо контейнерах их не пришьют.

Против этого, пожалуй, никто не возразит.

1991

## ИДЕИ И «ПРАВИЛА»

Стыдно быть обманщиком. Но и обманутым быть стыдно. А если чувствуешь себя одновременно тем и другим?

Именно так чувствуют себя сегодня многие поборники перестройки. Чем деятельнее ее поддерживали, тем поганее на душе. Мне это известно не с чьих-то слов.

Сейчас не составляет труда объяснить и частично оправдать, скажем так, близорукость интеллигентов-перестройщиков, искренне и пылко уверовавших: обретен единственно правильный путь. После долгих лет относительной оппозиции, смиренного неприятия власти, унизительного сознания своей жалкой роли появились шансы одобрять достойное по всей видимости одобрения. Есть ли их вина в том, что путь привел в тупик?

Такого рода самокритичные признания мне не попадались. Но предпринимаются попытки, преодолевая растерянность, осмыслить причины поражения перестройки, найти выход из тупика. Нередко он видится в том, чтобы отойти назад, заново «переиграть» историю. Как неудачную боевую операцию на учебном ящике с песком.

Журналист-международник советует осторожно вернуться к точке,

с какой началась перестройка, и поискать другую дорогу. Но как осуществить попятное движение, что собой представляет эта новая дорога?

Философ идет дальше: желательно отступить к февралю 1917 года и восстановить легитимность власти. Если в восточноевропейских странах оказалась возможной «прогрессивная» реставрация через пятьдесят лет, почему же она невозможна у нас через семьдесят?

Да потому хотя бы, что коммунистические режимы в Восточной Европе учреждались иноземным штыком. А если нам вернуться в февраль семнадцатого, где гарантия, что через месяц-другой Полозков не прибудет в Питер (улыбчивый Гидаспов обеспечит горячую встречу), не провозгласит «Апрельские тезисы»? Кто знает, не повторится ли все как встарь, и Полозков, победителем вернувшись в Москву, не обретет ли наконец вымечтанную столичную прописку?

Не ставлю рядом утопические проекты сторонников реформ и жестко сформулированный ретроградный курс РКП: «Откат назад». Но настораживают невольные совпадения и невольное выпадение из этих разнородных по истоку планов человеческого, как говорили несколько лет назад, фактора.

Смоделировать можно, вероятно, любую историческую ситуацию. Но можно ли «пересадить» сегодняшнего человека в искусственно созданные исторические условия, можно ли выкинуть в корзину неудачный черновик и все переписать набело?

Боюсь, в объяснениях катастрофы, в проектах спасения сбрасывают со счетов привычки, нравы, комплексы людей, приобретенные за последние десятилетия.

В нашей жизни, в нашем сознании политика слишком подавила этику и о ней просто недосуг задуматься. Тем более что ее воздействие не так уж подчас заметно. А введя этические нормы в систему рассуждений, вынуждены будем винить не только кого-то другого, но и себя, своих единомышленников. Пусть даже собственная вина неизмеримо меньше чужой и не в ней корень зла.

«Что делать?» — спрашивают одинаково и властители, и подвластные, и революционеры, и общественные деятели, подразумевая под вопросом «Что делать?» всегда вопрос о том, как должна быть устроена жизнь людей, то есть что делать с другими людьми? Все спрашивают, что делать с другими, но никто не спрашивает, что делать с самим собой?»

Не спрашивают даже те, кому знакомы эти вещие слова Толстого, кто понимает, почему они воинственно отвергаются политизированной идеологией, высмеиваются идеологами.

Эти слова не дают универсального ключа к «проклятым вопросам», но, пренебрегая толстовской мыслью, вряд ли можно решить проблему жизнеустройства в интересах человека. Если это всерьез осознали, то еще не обрели истины, но уточним критерии и район поисков. Не более, но и не менее того.

Мы основательно испорчены, внутренне опустошены политическим прагматизмом и сейчас совместными усилиями творим культ «здравого смысла». Словно сговорившись, отбросив разногласия, все призывают к здравому смыслу. Но каждый волен понимать его по-своему, и неизбежны новые столкновения. Думается, здравый смысл без чистой совести — бессмыслица. Но о совести никто не заикается. Почему-то всегда не до нее. Настолько не до нее, что, все вспомнив Сахарова, Солженицына, походя их цитируя, не даем себе труда вникнуть в их мысли о необходимости нравственного самоочищения, политики, сообразующейся с моралью, о жизни не по лжи.

Наша оплошность, оплошность тех, кто ратовал за перестройку, в том прежде всего, что мы игнорировали ее нравственный аспект. За многообещающие лозунги и начинания прощали ложь. Сперва не бившую в глаза.

Ложным был исходный тезис об отсутствии у перестройки противников. Возможно, он тактически оправдан (усыпить воинственность таких противников). Но почему сторонники тогдашнего М. Горбачева даже не насторожились — начало перестройки замутнено неправдой?

Одни, по обыкновению, не замечали «пустяков», другие прощали маленькие хитрости большой политической игры. М. Горбачев тогда смело делал полезные шаги, внушал великие надежды, и казалось неудобным в чем-то его упрекать, отказывать ему в безусловной поддержке.

Однако, поддакивая, трудно остановиться, независимо вести этический счет. Особенно когда испытываешь симпатии к лидеру, во многом выгодно отличающемуся от предшественников, и упрямо не желаешь видеть: он из той же среды, его вероучитель — Андропов, в чем прошлом хватало злодеяний, коварства, подлостей. М. Горбачев не отрицал этой близости, но до поры до времени не афишировал ее. Без шума менял шефов госбезопасности, не спешил, как делает сейчас, наделять «органы» необятными правами. Господствовала наивная доверчивость: раз М. Горбачев предпочел того-то, значит, такой ему и нужен в борьбе с наследниками Брежнева. Странная, однако, это была борьба.

Призыв к социальной справедливости не мог осуществляться сколько-нибудь последовательно: горбачевская перестройка всерьез не посягала на всевластие партийно-бюрократической и военно-промышленной элиты. Но открыто не защищала ее кастовые интересы от общественно-го гнева. Опять-таки тактический прием? А как с точки зрения действительной справедливости?

Сторонники перестройки не улавливали, где кончается М. Горбачев-реформатор и начинается М. Горбачев-охранитель. Недостаток нравственной бескомпромиссности они возмещали бескомпромиссностью идейной. А идейная солидарность почиталась выше порядочности.

Наивно от нас, грешных, ждать примерной праведности. Но худо, что она отсутствовала как цель, внутренняя потребность, и потому, види-

мо, корпоративность не избавляла от раздоров, тщеславного соревнования и многого другого, не содействующего сплочению демократических сил, росту их нравственного влияния.

Пушкин шутливо говорил о «честных правилах». Нам сегодня не до шуток. Но правила достойного при любых обстоятельствах поведения не менее необходимы, чем идейные устремления. Самые верные устремления без таких правил вряд ли приведут к добру. Особенно сейчас, когда растут отчаяние, ненависть, а власти по умыслу или недомыслию ведут дело так, что нельзя исключить взрыв слепой ярости.

Необходимо огромное нравственное влияние, чтобы этого не допустить, не дать спровоцировать людей на шаги, продиктованные отчаянием. Но и убаюкивать, внушать иллюзии бесчестно. Переключить ненависть в русло стойкого, длительного сопротивления, исключаящего насилие, — задача беспримерной трудности еще и потому, что противная сторона, не признающая каких-либо правил, делает все более откровенную ставку на насилие. Вопреки надеждам, М. Горбачев не составляет исключения в ряду советских партийно-государственных лидеров. Сама его приверженность «социалистическому выбору» равнозначна приверженности насилию. Иначе этот выбор у нас никогда и не побеждал. А сейчас, отвергнутый большинством народа, не располагает другими способами удержать господство. Сторонники подавления и расправы рекрутируются из наиболее воинственных консервативных слоев генералитета, партии, госбезопасности.

Сторонники перестройки проморгали знаменательный процесс перехода на сторону М. Горбачева недавних его оппонентов, их крепнущее морально-политическое единение. Хотя уже Чернобыль свидетельствовал о расположенности генсека к партийной и государственной бюрократии, ответственной за преступления, длящиеся по сегодняшний день.

В статье «Жуткий эксперимент» (белорусская «Народная газета», 8 февраля с. г.) сообщается о решении комиссии Бюро ЦК КПБ и Совета министров БССР по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Комиссия, в частности, разрешила проводить сев озимых зерновых на территории с загрязнением от 15 до 40 кюри. Оговорено лишь, что урожай должен пойти на технические нужды. Но председатель Западного отделения ВАСХНИЛ профессор Иван Никитченко определен: «Научных данных, подтверждающих возможность получения чистой продукции с земель, загрязненных цезием свыше 15 и стронцием свыше 0,3 кюри на квадратный километр, не существует. Научные данные говорят о том, что грязь размазывается по всей республике и за ее пределы, и это нельзя иначе назвать, как преступлением.

Вот так! Наука утверждает одно, а комиссия, созданная по инициативе партocraticеской номенклатуры, другое».

Гласность позволила во всеулышание сказать о виновниках трагедии. Но сказал отнюдь не будущий президент. Он обладал возможно-

стью, нравственным правом без всяких тактических ухищрений устранить с политической сцены верхушку партократии, повинную в гибели людей, в тягчайших последствиях Чернобыля. Преступление не получило бы зловещего продолжения. Но такой вариант, не имеющий ничего общего с тридцать седьмым годом, М. Горбачев отверг. Вопреки элементарной человечности, ответственности за судьбы миллионов.

Минуло почти пять лет после катастрофы, и М. Горбачев наконец приехал в смиренную Белоруссию, увидел опустевшие деревни и деревни, подлежащие эвакуации, услышал рвущие душу рассказы. И умолчал об истинных виновниках и подлинных причинах трагедии, пообещал изучить проблему, оказать помощь и — с небывалой до сих пор резкостью обрушился на политических оппонентов, «так называемых демократов», объясняя, что на самом-то деле «левые» — это и есть «правые» и т. д.

Вот когда пахнуло тридцать седьмым, вот когда вспомнились знаменитые некогда сталинские рассуждения: пойдешь налево — придешь направо...

Можно подумать, «так называемые демократы» повинны в катастрофе, и не они, преодолевая глухие заслоны, нарушили заговор преступного молчания, передали тревожные сигналы в Москву, не их травил и травит местная партократия. На встречу президента с белорусской интеллигенцией не пригласили Алеся Адамовича и Василия Быкова. Вообще стоило ли предпринимать путешествие в пораженную радиацией республику, чтобы сводить счеты с «так называемыми демократами», невольно подключаясь к полозковской компании?

Речь президента была настолько агрессивной, что при газетных публикациях ее пришлось редактировать, смягчать, убирая отдельные пассажи.

Трудно взять в толк, как она согласуется с призывами к миролюбию, преодолению нетерпимости и озлобленности, с которыми президент обратился накануне референдума.

Неужели все тот же расчет на короткую память, на то, что сегодня люди уже не помнят сказанного им вчера?

Еще прежде чем горбачевская внутренняя политика провалилась, сам он начал неудержимо терять моральный вес. Все большей фальшью тянуло с телеэкрана, транслировавшего «потемкинские» вояжи. А мы уже привычно глотали эту фальшь. Видно, отсутствовал иммунитет против нее.

Самодискредитация М. Горбачева достигла такого масштаба, что достаточно ему обрушиться на неудобного деятеля, и тот мгновенно приобретает популярность.

Покуда велись высоколобые разговоры о гуманной авторитарности, президент заполучил столько полномочий, сколько не имел какой-нибудь латиноамериканский диктатор или вождь африканского племени. Однако непомерной президентской власти, выяснилось, недостаточно

для малейшего улучшения дел в стране. Недостаточно даже, чтобы освободить телебашню, захваченную омовцами для местных коммунистов. Но ее вполне достаточно, чтобы плодить бесконечные указы, которые не исполняются и, по мнению юристов, далеко не всегда законны. Упоминать об авторитете власти, надеющейся одолеть продовольственные трудности с помощью рабочего контроля и КГБ, героически борющегося с «экономическим саботажем», было бы бестактно. Сегодня на уровне Центра нет ни авторитетных структур, ни авторитетных фигур.

Почему так случилось и почему этот процесс продолжается?

Назову лишь одну, на мой взгляд, далеко не последнюю причину: погоня за синоминутным практическим эффектом и полное пренебрежение правилами, элементарной добропорядочностью.

Самый наглядный общедоступный пример — телевидение. Над Останкинской башней можно победно вздернуть личный штандарт президента.

Критические голоса почти не доносятся из эфира, вылезшие из щелей цензоры вгоняют поток информации в уготованное русло, отсекая все «лишнее», «неуместное», «нежелательное». Дикторы натужно улыбаются: «А сейчас сообщим вам приятную новость...»

Телевидение успешно возвращено на студию, когда велись многочасовые передачи об эпохальной трилогии Л. И. Брежнева. Шокируют профессиональная беспомощность обновленного ЦТ, туповато отрепетированные интервью, отрежиссированные импровизации.

Но раньше ложь принимали за неизбежную, за привычную норму и не слишком ей противились, не возмущались. Сегодня понимают: раз с экрана твердят «белое» — значит, «черное». Если сообщают о Прибалтике, Нагорном Карабахе, митингах на Манежной, шахтерских забастовках, то непременно лгут. Государственный источник сведений безнадежно отравлен, дискредитирован.

Кто же выиграл блицкриг за Останкинскую башню? Велик ли прок от телевидения, в лучшем случае вызывающего скуку, в худшем — брезгливость? Велик ли прок от агитации, побуждающей поступать противоположно тому, на чем настаивают агитаторы, убежденные: сила не в доказательности аргументов, а в бесконечном повторении одного и того же. Неумолимо увеличивается разрыв — люди ушли вперед, а главное средство массовой информации стремительно откатывается назад.

Вопреки внедряемой информации люди поступают по велению совести. Прибалтика, Москва, Ленинград, другие города, сидящие на полуголодном пайке, делятся последним куском с бастующими шахтерами, их семьями. Хотя с телеэкранов пытаются всячески распалить неприязнь к забастовщикам, уменьшить масштабы забастовок.

Я не сравниваю. Но не могу избавиться от воспоминаний о том, как замалчивали голод 30-х годов, охвативший Украину, а горожан лишили малейшей возможности пособить обреченным на смерть крестьянам...

Чем бы ни кончилась шахтерская эпопея, свое слово стачечники сказали, вынесли приговор режиму, который щедр на обещания, заверения, но не связывает себя ими. Не так ли было и после землетрясения в Армении?..

Шахтеры дали пищу и для размышления демократическим организациям, демократическим силам. Нельзя оставлять без внимания, без реакции даже отдельные случаи обиходной государственной лжи, демагогии и ждать, пока такие случаи станут системой, что ведет к общенациональному кризису.

Это западным наблюдателям позволительно открывать Америку после крови в Прибалтике или циничных заявлений премьера. Мы обязаны были совершать такие открытия уже после Чернобыля, подтвержденного Степанакертом, Баку, Тбилиси и другими кровавыми пятнами, расплывающимися по карте страны. Нам следовало давно уже прийти к вполне определенному выводу о несовместимости нового мышления, предназначенного на экспорт, с покровительством преступникам, с тоталитарными методами внутри страны. Список безнаказанных злодеяний за шесть минувших лет рекордно велик, и не надо морочить себе и другим голову, надеясь уравновесить его «списком благодеяний». Как бы нам, склонным к нравственной амнистии, этого ни хотелось.

Своеобразная сложилась ситуация: люди жадно ищут этические ориентиры, обращаются к церкви, которую государство готово задушить в объятиях, превратить в религиозный агитпроп. А что могут предложить «прорабы перестройки»?

Конечно, их вклад не сводится к самодовольным мемуарам и крикливым статьям. Умалять сделанное непростительно. Однако так же непростительно оправдывать их нравственную уступчивость, пренебрежение правилами.

Любопытная деталь. Среди обвинений и ругательств, обрушившихся на Б. Ельцина, нет даже попытки опровергнуть его упреки М. Горбачеву в обмане народа. Для ругателей и обвинителей такой проблемы не существует.

К сожалению, для нас такая проблема — проблема лжи и правды, ответственности за слово и обещание — если и существует, то на втором, третьем плане. Потому, видимо, и сместились наши представления, потому во всем происходящем немало нашей собственной вины. Пока мы ее не осознаем до конца, трудно надеяться на успех демократического обновления, спасающего страну.

Подлинная демократия — это, вероятно, такое устройство жизни, когда человек, имея свободу выбора, исходит из высоких нравственных норм, «честных правил», одинаково непременных и для него самого, и для власти, им избранной.

## НАПЛЕВИЗМ

*«Уважение к человеку! Уважение  
к человеку!.. Вот он, пробный ка-  
мень!»*

*Антуан де Сент-Экзюпери.*

Не тратьте силы, время, не ройтесь в словарях, даже у Даля и в 17-томном не обнаружите этого слова. Нет его ни среди устаревших, ни среди неологизмов. А оно было, кометой рассекло воздух и, видимо, сгорело в плотных слоях атмосферы. Как отработавший свой срок спутник.

Это тем более удивительно, что родилось слово не в очередях и вагонах электрички, не в школьных классах и студенческих аудиториях. Его «спустили» сверху, оно украшало эпохальный документ. Что уже само по себе должно бы гарантировать ему долгую, всеми почитаемую жизнь. А вот, поди ж ты...

О «наплевизме», о «духе наплевизма» сказано в постановлении ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» от 14 августа 1946 года, где указывались задачи на годы, десятилетия, возможно, на века. И не только в сфере литературы. «Советский строй не может терпеть воспитания молодежи в духе безразличия к советской политике, в духе наплевизма и безыдейности».

«Не может, не может», — дружно подхватила печать, агитаторы и пропагандисты, доблестно вступая в бой с «наплевизмом». Грозными волнами перекатывались собрания, заседания, совещания, подтверждавшие: «не может, не может» и клеймившие «наплевизм» — гнусный плод, подкнутый вражеским окружением.

Почему бы, усомнится кто-то, было не воспользоваться нормальным словом — «наплевательство»? Усомнится и выкажет свою политическую незрелость, склонность к компромиссам, примиренчеству и прочим порокам, подлежащим искоренению. «Наплевательство» — это одно, «наплевизм» — другое. Перед нами — идейное течение, вполне вероятно, опаснейшая теория и губительная практика, вода на мельницу...

Но почему столь скоро и бесшумно такое ценное, беспощадно точное определение ушло из обихода? Другие слова, соседствующие с ним, процветали — борьба с безыдейностью, низкопоклонством охватывала все новые области искусства, науки, быта; разоблачались писатели, ученые, композиторы, живописцы; французские булочки, установила солидная экспертиза, на самом-то деле — московские, пирожное, выдававшее себя за «эклер», всего лишь трубочка с кремом; генетика и кибернетика — лженаука. Впереди была борьба с «кока-колой», узкими брюками, длинными волосами, короткими юбками. Но «наплевизм» бесследно



исчез. Будто нет ему больше применения, будто его и не было. Исчез так же внезапно, как объявился. Человечество осталось в неведении относительно создателя нового слова, намеревавшегося обогатить великий и могучий русский язык.

Вопрос о создателе не лишен оправданного интереса. Этот вопрос, надо предположить, связан с дальнейшей судьбой и внезапной кончиной изобретенного слова.

В глубоком мраке секретности рождаются документы на Старой площади. Авторы их и ныне анонимны. Чего уж вспоминать о былых временах, когда бдительность числилась среди главных средств народного воспитания и укрепления государственного могущества. Позволю себе предположить: ни референт, ни консультант, ни пом, ни зам, ни даже зав. отделом не отважились бы проявить такую лексическую дерзость при наличии Главного знатока языка и вопросов языкознания. На это мог пойти либо он сам, либо человек, обладающий такой властью, которая позволяет пренебрегать законами языка и очевидным смыслом. Ведь «дух наплевизма» — чистейшая вроде бы нелепость. «Наплевизм» по отношению к чему? К политике? Но чуть выше в постановлении сказано о «духе безразличия к советской политике». К большевистской идейности? Но чуть ниже сказано о «безыдейности».

Однако новые слова рождаются не только из объективной потребности обозначить явление, выразить состояние (классический тому пример — глагол «тушеваться», введенный Достоевским). Но иногда они неподконтрольно выражают чьи-то чувства, устремления.

По всей видимости, так произошло и на сей раз. «Наплевизм» возник не на пустом месте, продиктован был не просто вздорной прихотью.

Человека настолько распирало ощущение власти, возможность безбрежно и безнаказанно оплевывать все по своему усмотрению, что он пустил в ход термин собственного изготовления.

Нужно ли сегодня доказывать — власть и политика истощающе определялись неожиданно объявившимся словом?

Само постановление 1946 года о ленинградских журналах — беспримерное хамство по отношению к писателям и литературе, к таланту и личному достоинству. Но упрекать авторов эпохального документа — все равно что читать мораль людоедам, корить их за дурные манеры. Все это было в порядке вещей, такой порядок господствовал уже не первое десятилетие, постоянно подтверждая свою неизменность. Обретя власть, неуч и бездарь самоутверждались, оплевывая все вокруг. С разной, конечно, высоты; у каждого имелась своя сфера, и лишь самые главные обладали правом беспредельного «наплевизма». Потому, между прочим, и подозреваю: изобретатель неологизма обитал на высоком этаже, быть может, на самом высоком.

Однако нравы «малины» в одних случаях предполагали аноним-

ность, в других — прозрачный псевдоним вроде «группы товарищей». Даже бытовала формула: как нам указывает лично «группа товарищей».

«Наплеизм» — это постоянное насилие, подкрепляемое постоянным обманом. Любое посягательство — на жизнь ли, на достаток — непременно сопровождалось уверениями: все делается по настоятельной просьбе самих граждан, в интересах народа. Только так, не иначе.

«Наплеизм» перехлестывал государственные рубежи. В чужие страны вводились советские танки, марионеток сажали в президентские кресла, Хрущев барабанил башмаком по пюпитру в зале ООН. «Доктрина Брежнева» стала одной из опор советской внешней политики...

Можно различать «наплеизм» Сталина и Хрущева, Брежнева и Андропова. Но это оттенки. Суть неизменна.

Мы обратились в общество, где грубость, унижения, площадная брань — переставшая удивлять норма жизни. Девчонка-продавщица через губу отвечает калеке-пенсионеру; управдом орет на старуху; преподаватель, принимая экзамены, спрашивает у студентки, можно ли с ней переспать; медсестра входит утром в палату и приветствует больных трехэтажным матом.

Когда-то говаривали: кто палку взял, тот и капрал. У нас и брат не надо. Палка незримо вручается вместе с ключами от кабинета, от подсобки, от склада, от мастерской. Ключи ключам рознь; неодинаковы масштабы оплевывания. Но вечно бесправие просителя, покупателя, клиента.

Понятие «наплеизм» определяет и большую политику, и повседневный быт. Тон задал сановный хам, показав, как надлежит обращаться с простым смертным, как расправляться с неудобными. Он выпестовывал систему тоталитарного подавления личности. Но не претендовал на лавры первопроходца, наоборот, не уставал распинаться в своей приверженности к социалистической демократии, разумеется, обнесенной колючей проволокой. Правда, проволоку не следовало замечать, а демократией следовало восхищаться — единственная, подлинная, неповторимая. Словечко «наплеизм» было явно не к месту. Пустивший его не сразу смикитил: пущен бумеранг. И слово исчезло так же неожиданно, как возникло.

Однако природа строя оставалась неизменной, человек — бесправным.

Не в том, думается, задача дня, чтобы выявить еще какие-то темные и позорные пятна прошлого, задним числом произнести гневные слова. Надо бы получить понять это прошлое, ибо все реальнее угроза его возврата, все резче включается задний ход.

Великое презрение к личности — источник силы, но и слабости режима. Источник силы — благо режим обладает возможностью по собственному разумению сосредоточивать на определенных участках людские массы, физические усилия и интеллект. Таким образом создавались гиганты индустрии и смертоносные бомбы. Вопрос о цене никогда не ста-

вился, возводил ли человек плотину, прокладывал ли таежную трассу, вкалывал ли в «шарашке». Получал орден или тюремную пайку.

Но и отрицать энтузиазм нелепо. Многие искренне верили: они трудятся, терпят лишения, идут на жертвы во имя великой цели, лучезарного будущего.

Цели были настолько велики, что кружили голову, затмевали средства.

В истории такое случалось, не мы первые. Но всякий раз конкретны жизненные обстоятельства.

Наши великие цели провозглашались в обстоятельствах изоляции от мира, мировой цивилизации, от жизненных традиций, от культурного наследия. Едва ли не все оставшееся позади, находившееся за пограничным столбом словно бы не существовало, и у наших людей рождалось впечатление, будто лишь им известен секрет общечеловеческого счастья, лишь они приближаются к нему. Остальной мир плутает в потемках, прозябает в нищете, вот-вот свалится в бездну, если мы не протянем руку братской интернациональной помощи.

Однако железный занавес тянулся не только вдоль государственных границ. Он обособлял одни жизненные зоны от других. Секретность укрывала лагеря и тюрьмы. Город слабо представлял себе, что творится в деревне, деревня — что в городе. Окраины жили одной жизнью, центр — другой. Голод на Украине 30-х годов составлял строго оберегаемую тайну. Когда в столицах хватало молока и мяса, глубинка перебивалась с хлеба на воду.

Наши солдаты из крестьян были изумлены, увидев в конце войны деревни Чехословакии, Польши, Германии, Венгрии. Такой уровень сельского хозяйства им и не снился. Сам собой напрашивался вопрос: неужто после войны не распустят колхозы?

Помню, как безуспешно пытался объяснить старику поляку, что такое коммуналка. Это было недоступно ему, жителю разоренной страны. Барак, проше пана? Нет. Землянка? Нет. Но что тогда, боже коханий?..

Система отторгала нас от мира, мир от нас, навязывала свои представления о нем и о нас самих. Избавиться от них трудно, очень трудно. Чем горестнее наступившие времена, тем милее давние, легче забываются все дурное в них. Рождается иллюзия былого благополучия, даже изобилия.

В начале 50-х годов я служил в гарнизоне на Дальнем Востоке. Мы, офицеры, получали сносный паек, продукты шли преимущественно из Китая. Но местные магазины ничем не отличались от нынешних московских.

Жалкий это самообман — тогда, дескать, всего хватало, цены снижались. Время, когда всюду всего хватало, так и не наступило. В одних местах было более или менее густо, в других — пусто. По поводу очередного снижения цен мой приятель безобидно пошутил: керосину выпьем, сеном закусим. (Подешевели сено и керосин.) Остроту не оцени-

ли, приятеля выгнали из партии, прогнали с работы. Не вспомнили, что он честно прошел войну.

Первейшее условие слепой веры — неведение. Его надежно обеспечивала многолетняя, хорошо поставленная информационная блокада. Плюс пропаганда, из года в год вколачивавшая в сознание нелепые, однако лестные стереотипы. Это не тебя оплевывают, а негра в Америке, не ты недоедаешь, а житель Бомбея — ему наше щедрое правительство шлет корабли с консервами, не ты бесправен, а индейцы в резервации.

Непростительно обо всем этом забывать, умиляясь прошлому.

Не надо забывать и об энтузиазме, энтузиастах. Только и здесь нет особого повода для умиления. Людей обрекали на жалкую жизнь в бараках. Меж тем вдохновители и организаторы энтузиазма не помышляли о том, чтобы разделить их невзгоды. Социальное неравенство возобладало незамедлительно после победы лозунга о равенстве, братстве, свободе. Одно неравенство сменилось другим, и закрепляя его, тотчас началось возведение лагерей, переоборудование монастырей в тюрьмы. Трудом зеков, трудом крестьян, бежавших из голодных деревень, возводились гиганты пятилеток. Отнюдь не энтузиазмом единым.

И в этом — слабость режима. Подневольный труд малопродуктивен, лишен стимулов. Затурканный, вечно унижаемый человек — плохой работник. Энтузиазм пригоден для штурмов, рекордов, но не для разумно налаженного труда.

Работа не приближала к главной цели — не обеспечивала нормальные условия существования, развития личности, духовного обогащения. Власти плевать хотели и на энтузиастов, и на зеков, и на весь внемногочисленный народ.

Как бы ни кляли сегодня перестройку, но она поставила под сомнение политику «наплевизма», верхи осторожно дали понять: эта политика не столь совершенна, справедлива, человеколюбива, как она сама без лишней скромности изображала и рекламировала себя.

По-разному оценивают последние шесть лет. Одни видят в перестройке лукавый маневр ради спасения партийно-бюрократической власти, пустившей страну под откос. Другие считают заранее обреченной попыткой накормить волков, но и сохранить овец. Третьи — искренним, но не последовательным желанием преобразовать тоталитарное общество в цивилизованное, демократическое.

В этих и других версиях активную сторону представляет лишь власть и ее партия — КПСС. Но недооценивается активность людей.

Едва пресс ослабел, страх уменьшился — пробудилась энергия освобождения, преобразования, подталкивающая перестройку, сокрушающая препоны, ограничения, запреты. Перестройка начала выходить за первоначально уготованные ей рамки, срывались все и всяческие маски с неприкасаемых кумиров, развенчивались священные идеологические

догмы. Политика «наплеизма» давала трещины, обрадовавшие одних и напугавшие «новый класс» — номенклатуру.

Среди напуганных, похоже, оказался и главный инициатор перестройки. Начался его дрейф вправо. Как там у Александра Галича: «Любое движение направо начинается с левой ноги»?

Нет нужды говорить, что силы обновления далеко не всегда находили лучший путь, им ощутимо не хватало лидеров, особенно после смерти Андрея Дмитриевича Сахарова, их нередко использовали в своих интересах новоявленные и тщеславные мессии. По-другому, вероятно, и быть не могло. Но все равно — не силы обновления повинны в нынешнем кризисе.

Власть, пустившая страну под откос, продолжала и продолжает свое дело. Прогнившая, но не утратившая амбиций, а главное — желания снимать сливки и оставаться хозяином положения.

За шесть минувших лет она удостоверялась: лишь своими исконными методами в состоянии управлять страной. И мы в том удостоверились, когда сошел хмель.

Глотнув пьянящего воздуха свободы, мы вскоре наглотались такого дерьма... Нет необходимости и охоты снова говорить о нечисти, всплывшей на поверхность, об обломках командно-бюрократических конструкций, свалившихся на голову. В царстве хаоса и дефицита возросло могущество всех причастных к распределению благ, устройству непосильного быта. Ее величество продавщица, их превосходительство сантехник, его сиятельство таксист... В молочную, булочную или химичку идешь как на Голгофу. А на дороге высится новая фигура — дитя «социалистического рынка»: нагловатая усмешка, крепкие плечи, на плечах «фирма», в руках ключ от «мерседеса». И он на нашу голову, по нашу душу?..

Не желая вспомнить ушедшее в тираж словцо «наплеизм». Продовольствие катастрофически и таинственно иссякло, но не иссякают запасы слюны, предназначенной для граждан. Перестройка перестройкой, а власть действует удручающе знакомо. Ради нас, конечно, неспособных оценить высоту ее устремлений, благородство кулака, которым все чаще, упорнее размахивают под нашим носом. Будто в давние времена, в годы, когда выпускались исторические постановления, испытываешь потребность вытереть физиономию.

По числу президентских указов и свежеепеченных законов на душу населения мы выходим, вероятно, на первое место в мире. Но от количества документов качество жизни не повышается. Скорее наоборот. Да и не всегда постижима логика действий президента. На высказывания бывшего генерала КГБ он отозвался с поспешностью, заставившей юристов усомниться в правомерности высокого акта. Но кровоточащая проблема Нагорного Карабаха отложена в долгий ящик, в Южной Осетии гибнут старики и дети, лишённые защиты государства.

Гласность не только породила несбывшиеся надежды, но и высветила примитивность механизмов управления, сделала болтливыми некото-

рых управляющих, оказавшихся не у дел. Мемуары Е. Лигачева поражают, по-моему, одним — самодовольной ограниченностью автора. «Второй человек», главный специалист по идеологии и агрономии, по строительству социализма, старательно переписывает снисходительные характеристики, которые давала ему какая-нибудь зарубежная газета.

С таким же самоуважением расписывает деятельность во благо Отечества, собственное значение другой мемуарист — Ю. Чурбанов. В. Гришин в пространным интервью рассказывает, как облагодетельствовал Москву, ее жителей.

Не составляет труда вообразить себе мемуары Н. Рыжкова или В. Павлова, буде они окажутся написаны.

Кем все-таки они нас считают? Безропотно внимающим стадом?

За всю, более чем семидесятилетнюю историю страны не бывало такого, как сейчас, сопротивления насилию, открыто выраженного несогласия с пресловутым «наплеви́змом». Кто бы прежде обратил внимание, когда очередной телерадионачальник вознамерился на свой лад изменить программы, преобразовать свое ведомство в огромный ансамбль песни и пляски или кинотеатр повторного фильма? Все приняли бы это как должное, само собою разумеющееся. Наверху, за строго запертыми дверьми, где всегда все знают, прошло совещание, даны указания, и точка.

А теперь, извольте видеть, начальнику необъятного телерадиобогатства приходится оправдываться, ссылаться на волю президента и, разумеется, на желание народа.

«Наплеви́зм» возрождается в виде порядком приевшегося фарса. Раньше все беды проискали от безыдейности, теперь — от «деструктивных сил». Раньше врывались в квартиры в поисках «врагов народа», теперь — «экономических саботажников». Раньше продавали за границу «советского завода план», теперь — астрономические суммы «деревянных» рублей. Раньше, «укрепляя руководство», заменяли угодливых чиновников еще более угодливыми, теперь — то же самое. Раньше презумпция невиновности числилась предрассудком буржуазной юриспруденции, теперь так не говорят, но достаточно КГБ ткнуть пальцем, и человека запросто объявляют преступником, не ожидая такой чепухи, как суд...

«Наплеви́зм» не стоит на месте, трансформируется одновременно с перестройкой. Но когда «калашников» плюет свинцовыми очередями, это не примешь за изобретательную новацию. Хотя скорострельность «калашникова» не в пример выше, чем у нагана, которым управлялись в Куропатах, в Катюни, на Колыме и на Лубянке. Но принципиально ли отличие? Назначение телевидения, призванного неуклонно проводить государственную политику, удивительно совпадает с назначением журналов, как его понимало постановление ЦК 1946 года. Журналы, гласило постановление, «являются могучим средством советского государства

в деле воспитания советских людей и в особенности молодежи и поэтому должны руководствоваться тем, что составляет жизненную основу советского строя, — его политикой».

Справедливо было бы этими словами предварять теперь программу «Время». Более унылой она бы от них не стала, такое вообще невозможно, зато все заняло бы свои места.

В конечном счете нет ничего удивительного, коль президенту не по душе критические выступления в эфире, публикации в печати. И на менее высоких постах он с таким не сталкивался. По-человечески понять его можно, согласиться — трудно. Он сформулировал принцип, ставящий и его самого, и всех нас по меньшей мере, в затруднительное положение. Внес недостающую ясность: «...Режим — прежде всего Горбачев».

Уравнивать себя с преступным режимом, против которого сам недавно резко выступал, отвечая апологетам вчерашнего дня?..

Да, он не отличался последовательностью, ко многим решениям приходил с досадным опозданием. Но ведь и мы — будем справедливы — далеко не всегда верно оценивали происходящее, частенько бывали крепки задним умом. Все мы оттуда, где самостоятельная мысль не поощрялась и надлежало подхватывать, единодушно одобрять и т. д. и т. п. Все, вплоть до Генерального секретаря ЦК партии, исповедовавшего «наплеизм» под видом разных других «измов». Он попытался — нет, не разорвать круг, но ослабить удавку на горле каждого.

Искусство аппаратной борьбы позволило ему победить консервативное большинство брежневско-андроповского Политбюро. Но тактическая победа вряд ли содействовала выработке твердых нравственных правил, помогла определить стратегию перестройки, в корне меняющей политику, экономику, возрождающей мораль. Аппаратная виктория побуждала балансировать, метаться вправо-влево не столько ради решительных реформ, сколько для удержания личной власти, сводящей эти реформы на нет. Поспешно свертывающему их на глазах страны, всего мира, Горбачеву остается теперь только всех убеждать в пламенной приверженности к ним. Но нас слишком часто, слишком много обманывали, чтобы сегодня верить зряшным словам. После восьмидесяти пятого года понадеялись, рассиропились, воспарили мечтой...

Эволюционируя, сегодняшний М. Горбачев настолько приблизился к практике «наплеизма», что не удержался от формулы, заставляющей вспомнить Людовика XIV: «Государство — это я».

Но Людовик, если память не изменяет, не уверял, будто его Франция — правовое государство, не настаивал на верховенстве законов, в заигрываниях с демократией не замечен.

Если верховенство закона у нас все же сохраняется, а закон одинаково обязателен для всех без изъятия, то противоречие между президентом и его критиками устраняется само собой. И нет нужды позориться, давая волю рьяным охранителям.

Телеэкран обладает поразительной способностью выявлять человеческие свойства. Не надо чекистской проницательности, дабы убедиться: попавшие в немилость ведущие, редакторы, журналисты умнее, достойнее, цивилизованнее навязанных им начальников, до седых волос не научившихся грамотно говорить по-русски. Давая таким волю, президент еще сильнее раскачивает лодку, о которой прежде охотно рассуждал, покровительствует открытому беззаконию — в Прибалтике ли, в средствах ли массовой информации.

Когда одновременно требуют соблюдения одних законов и благословляют нарушение других, ничего хорошего не получается. Политическая линия становится причудливым пунктиром; никому не ведомо, чего ждать от центральной власти, что в ее силах, а когда она бессильна.

Все еще только шло к беде, и М. Горбачев успокаивал: ему ситуация досконально известна, меры принимаются. Беда наступает, и он, выясняется, ничегошеньки о ней не знал. Если и следуют запоздалые меры, ломаешь голову, что предпочтительнее — они или бездействие? В чем логика, когда с политической сцены устраняется Е. Лигачев, а в партийный ареопаг вводится И. Полозков? Е. Лигачеву М. Горбачев осторожно возражал, И. Полозкова — поддерживал своим молчанием.

Растет недоумение, нервозность, замороченность. Но не гласность, нет, не она тому виной.

Попытка президента приостановить действие Закона о печати — тревожный знак наступления на гласность, только еще рождающую свободу слова. Выходит, юридически сомнительных фокусов с телевидением, российским вещанием, инспирированной травли Б. Ельцина, ликвидации мозгового центра перестройки ему уже недостаточно. Ждать фронтальных атак?

Политик, ратовавший за новое мышление, гласность, все определеннее выступает за возвращение к доперестроечным нравам и порядкам.

Однако расчет на то, что люди, замученные пустыми магазинами и пустыми обещаниями, бесконечными очередями и подступающей нищетой, смирятся с новым насилием, эпохой подновленного «наплевизма», безоснователен. Даже если восстанавливать убогие традиции «застойного» телевидения и рептильной печати, номер не пройдет. Лишь усилятся противостояние, возрастет поток беженцев, увеличится «утечка мозгов» и «золотых рук». (Сотни тысяч, если не миллионы молодых, здоровых только и ждут закона о въезде и выезде, чтобы покинуть родные пределы. Но ни к ним, ни к беженцам президент так и не обратился, не нашел нужных слов. Не задумался, чем обернется для страны, ее престижа и ее будущего это массовое бегство... Мы до сих пор пожинаем плоды гораздо более скромной эмиграции 20-х годов.)

Политика «наплевизма» в любых ее формах аморальна, непродуктивна, пагубна. Как непродуктивен, пагубен культ насилия, карательных акций, анархический разгул. Диктат, силовой нажим, омоновские аван-



туры, капэссесовские комитеты национального спасения приводят к результатам, прямо противоположным тем, какие планируются, приводят к новой крови. Центр упорно дискредитирует себя и трогательно возмущается из-за падения своего авторитета.

Нам твердят о неизбежности, необходимости непопулярных экономических мер. Впрямь, без них не обойтись. Но непопулярные меры предполагают, пусть и не слишком популярное, но хотя бы минимально влиятельное правительство. Какой, однако, авторитет у правительства, начавшего свою деятельность плевком в лицо народу?

Ничего остроумнее международного заговора банкиров новый премьер себе в оправдание не сумел придумать. Такой высокий пост, такой апломб и — такое жалкое воображение. Не он, правда, первый использовал бродячий сюжет. Не побрезговал им и председатель КГБ. Потом уточнял: неверно истолковали. За премьера отдувался президент: тоже, мол, не совсем верно поняли, не надо трактовать «обобщенно».

Перед границей все-таки приходится пардону просить. Со своими чего стесняться — проглотят, не такое глотали. Нас по-прежнему держат за последних дураков, готовых поверить любым рассказам, и даже не беспокоятся, чтобы в правительственных заявлениях концы сходились с концами.

Но все-таки кто ответит за круглосуточные унижительные очереди у отделений сбербанка и почтовых отделений, за смятение, посеянное в умах измученных, дезориентированных людей? Кто подсчитает потери от трех дней всеобщей паники? Кто определит убыток от неизбежного бойкота зарубежных банков? Как аукнется растущий скепсис населения по отношению к отечественным сбербанкам? Поддается ли все это подсчетам? Колю и поддается, отыщется ли чудак, поверивший цифрам, когда ими без конца, без согласования между собой, манипулируют правительственные сановники, пользующиеся не большим доверием, чем ловкачи на Рижском рынке?..

Но я сейчас все же не о материальном ущербе. Столько миллионов ухнуло неведь куда, ухнет и еще. Богатейшая страна, поучавшая весь мир, стоит с протянутой рукой. Разорители ответа не несут и обещают дальнейшее совершенствование социализма.

Среди прочего в печати проскользнуло: да, мероприятие с купюрами недостаточно подготовлено, подкачала организационная сторона. Словно речь всего-навсего о досадной мелочи, пустяковом проколе, неудачном прогнозе погоды на завтра.

Не могу взять в толк, как президент дал «добро» государственной операции, беспредельно унижающей народ? Или опять ничего не знал? Опять не известили? Опять действуют таинственные невидимки, а перед нами краснобайствуют подставные фигуры?..

Зачастую именно то, что рисуется малостью, мелочью, определяет профессиональный уровень. Не зря на Западе господствует «звериный закон капитализма»: не умеешь — не берись.

Нам Запад не указ. Но списать на его происки собственную беспомощность, позорное неумение — завсегда, пожалуйста. На удивление цинично сочетаются разглагольствования о «заговорах», «происках» — и суетливое заигрывание, подобострастные попытки, исхитрившись, что-нибудь урвать, на чужом горбу попасть в рай.

Для того чтобы поплевывать на свой народ сверху, ума и совести не надобно, профессионализм ни к чему. Совсем другие потребны навыки и качества. Те по преимуществу, что помогают вскарабкаться на этот верх, сколачивая свою команду. Сегодня главная команда собрана с удручающей определенностью — один к одному. Никакой случайности в позорно, оскорбительно организованном обмене купюр, равно как и в удушении телевидения и во многих других начинаниях, нет. Эта команда иначе не хочет, не может, не будет. Она — наследница команд, загнавших страну в трясину «застоя».

Правда, все более явственные признаки, что дирижеры на подмостки не поднимаются. Слова Э. Шеварднадзе о «теневой политике», которую мы все постоянное ощущаем, заставляют тревожно задуматься, кто же все-таки командует парадом, что происходит в ночи, когда президент и его министры отходят ко сну.

Но так или иначе, оскорбительно проведенный обмен купюр на совести премьера, и никакие интервью, речи, заявления не отменяют самого факта: люди в расчет не принимались.

«Про меня забыли», — печально говорит старик в финале классической пьесы. Пьеса, объясняют учебники, из помещичьей жизни. А мы, объясняют газеты, живем в демократическом обществе, устремленном к гуманизму. Только вот проклятая забывчивость властей. Прямо-таки хронический склероз. Ну хоть бы раз запаматовали, едва доходит до собственных привилегий, до возможности распорядиться скромным достатком граждан, их подневольными судьбами.

Нет ничего более оправданного морально и юридически, чем требование человека быть уважаемым властью, ставить во главу угла его личность, его права, интересы. Он законно не желает более подвергаться оплевыванию.

При всей своей агрессивности — мы не раз убеждались — «наплевизм» трусливо-блудлив. Он наглеет, когда перед ним пасуют. Но, наткнувшись на сопротивление, поджигает хвост. Никому из нас нельзя об этом забывать. Даже когда подступает отчаяние.

1991

## РАСПУТЬЕ

В телевизионных репортажах, что велись с первой сессии Верховного Совета СССР, мне запомнились несколько быстролетно промелькнувших кадров. Перерыв. В фойе бушуют страсти, а эти пятеро, упитанные,

в хорошо сшитых костюмах, невозмутимо, точно с заоблачных высот, взирают на возбужденно спорящих депутатов. К ним подбегает взмыленный журналист с микрофоном:

— Представьтесь, пожалуйста!

Один из пятерых, снисходительно усмехнувшись, не нагибаясь к микрофону, роняет:

— Мы — партократия. Секретарь обкома такой-то, секретарь обкома такой-то...

Откуда знакома мне и эта улыбочка бесконечного превосходства, и властная повадка? Давным-давно в такой манере, правда, в узком кругу, откровенничал представительный мужчина в отутюженной «сталинке»:

— Наш, советский, вариант фашизма отличается от немецкого...

Было это спустя несколько месяцев после войны, и молодой офицер, услышав такое, остолбенел.

Лет пятнадцать назад другой высокопоставленный просветитель, в добротном тренировочном костюме, на синих шароварах красные лампасы (была такая мода), прогуливаясь по безбрежному дачному саду теоретизировал:

— Да, это и есть наш российский социализм. Пьяный в кювете, низкая производительность, постоянные «временные» перебои... Такова отечественная действительность, и нечего кипятиться, ссылаться на Ленина, Маркса. Карло-марксовский социализм строят трезвенники немцы, нехай и украшают свои спальни ковриками с цитатами из «Коммунистического манифеста»...

Они не верили в провозглашаемые ими же идеалы и лозунги, предназначенные, как и продукты из обычного магазина, для простых смертных. Знали цену «борьбе за мир», «дружбе народов», «социалистической демократии»...

Цинизм освобождает от совести, которую такой авторитет в области морали, как Гитлер, именовал химерой. Правильно именовал и вообще во многом бывал прав. Только напрасно спешил открывать карты. Выдержки идейной ему не хватало, тактической гибкости...

Ложь, цинизм вошли в плоть и кровь номенклатуры. Галич не зря предупреждал: «Не верить ни в чистое небо, ни в улыбки сиятельных лиц».

Мы настолько привыкли к обману, лживым посулам, ничего не стоящим заверениям, что и не представляем себе иной жизни. Иную литературу тоже слабо себе представляем.

Когда эта «иная» литература, преодолев бесконечные препоны, вырвалась на простор, она ошеломила, потрясла, открыла то, чего не знали, зачастую не желали знать, предпочитая повязку на глазах. Потому далеко не всегда, не всеми принималась радушно. И еще потому, что свыклись с унижительной жизнью, с нищим благополучием, с вечной подневольностью, социальной иерархией.

Могла ли перестройка сразу чудесно обновить людей, общество, человеческие отношения? Вряд ли. Но должна ли была привести к нынешнему хаосу, экономическому развалу, войне всех со всеми? Сомневаюсь.

Перестройка принесла духовное раскрепощение, великие надежды. Но принесла и новую демагогию, всплеск карьеризма, тщеславия. Отцов у перестройки обнаружилось не меньше, чем сыновей у лейтенанта Шмидта. От одних этих истошных криков голова идет кругом. Пробуждается ностальгия по вдруг ставшему милым прошлому.

Считают: перестройку объявила партия. Значит, партаппарат предложил политику, ставящую под угрозу его абсолютное господство? Нет, не значит.

Не партия и не аппарат начали перестройку, а незначительное горбачевское меньшинство в руководстве, почувствовавшее: необходимо остановить движение в пропасть.

Быть может, будущие историки поймут, что Михаил Горбачев, сформировавшийся в политического деятеля во времена застоя, пришел к великим решениям и, находясь во враждебном окружении, принялся их осуществлять. Нам остается догадываться и восхищаться.

Но помните у Чаадаева: «Время слепых влюбленностей прошло»? Эйфория давно миновала, и, оглядываясь назад, замечаешь ограниченность первоначальных целей, расплывчатость планов. В выступлениях М. Горбачева 85—86-го годов преобладают два мотива: нужна социальная справедливость и — у перестройки нет противников.

Но осуществима ли социальная справедливость, не задевающая интересов партократии? Или это липовая справедливость, или надежда, что партократия, потупив очи, склонив голову, придет с повинной, откажется от власти и благ. Возможно, заверения об отсутствии у перестройки врагов — тактический ход, предназначенный усыпить номенклатурную бдительность. Так или иначе, антиалкогольная кампания проводилась с пагубной решительностью, но с какой неохотой, медлительностью отменялась 6-я статья, признавалась многопартийность. Все, что мало-мальски ущемляет права и всевластие государственно-партийной бюрократии, блокируется, саботируется.

Обличать Коммунистическую партию — не велик труд, доблести для этого сегодня не требуется, аплодисменты обеспечены. Куда важнее, на мой взгляд, понять роль КПСС в перестройке, роковую двойственность этой роли. Не только большая часть рядовых членов партии, но и кое-кто из руководителей, особенно молодых, жаждет действительного обновления общества и готов многое сделать ради достижения цели. Но партия как политическая организация отторгает перестройку. Тканевая несовместимость. Партия и командно-административная система — близнецы-сестры. Партия обеспечивала систему идейно и кадрами. Посягнет ли она на нее всерьез?

Поначалу партаппарат с такой же готовностью повторял перестрочные девизы, с какой недавно убеждал, что «экономика должна быть экономной». Он столько раз клялся в верности народу, именовал себя его слугой, перестраивался, жонглируя словами, что непроч был сыграть еще раз в перестройку. Он не подозревал, насколько трагично положение страны, какие неординарные нужны меры. Не подозревали этого, похоже, и экономисты, и обществоведы, и писатели.

Уже признав, что литература наша не лучшим образом выказала себя на всех этапах послеоктябрьской истории, мы упоенно повторяем: «Поэт в России больше, чем поэт» и обращаем взгляд в сторону писателей — «прорабов перестройки».

Грешно, уступая ниспровергательскому пылу, охаивать сделанное ими в последнее время, укорять за публицистичность.

Но литература, мне представляется, потеряла точки соприкосновения с реальной жизнью. Даже лучшие книги минувших лет, даже книги, десятилетиями ждавшие встречи с читателями. Слишком уж неожиданно повернулась жизнь, открылись непредугадываемые бездны.

Я бы не спешил за это корить литературу. Она, вопреки привычным заклинаниям, вовсе не должна «вторгаться в жизнь», служить злобе дня, выполнять чьи-то зычные команды и принимать как откровение очередной политический лозунг. Нам еще предстоит, вероятно, подумать об истинном назначении художественного слова, не оскверненного услужливством (ни одна государственная система так истово, чередуя кнут и пряник, не добивалась, чтобы ее воспевали).

Но если истинно художественное слово звучит сегодня приглушено, то грохот от литературных баталий стоит несусветный. В баталиях этих истина не рождается, зато сколько агрессивности, надрыва, какие претензии на собственную непогрешимость! Ради тщеславного либо корпоративного самоутверждения не останавливаются перед подтасовками, подлогами, передержками.

Среди десяти тысяч членов Союза писателей не нашлось таких, чье обращение к людям было бы настолько морально обеспеченным, что заставило бы их задуматься, предостерегло от опрометчивых поступков, помогло бы сориентироваться. Эту ношу взвалил на себя Андрей Дмитриевич Сахаров. И нес ее в одиночку, до последнего часа, подвергаясь преследованиям и травле.

Как мы дошли до такой жизни? До такой общественной и литературной жизни?

Заранее сознаю: мой ответ не исчерпывающ, на всеобщее согласие не рассчитываю. Если и пытаюсь ответить, то потому лишь, что надо все-таки попробовать разобраться, что к чему, подумать о завтрашнем дне литературы.

Цинизм проник в писательскую среду с уже ослабленным нравственным иммунитетом. Имею в виду не только литературных генералов, сросшихся с партийно-государственным сановничеством. Вся лите-

ратурная жизнь, все институты — от Союза писателей до областного издательства — были включены в командно-бюрократическую систему. Писателями партия занималась больше, целеустремленнее, нежели композиторами или художниками. И ничего странного: «инженеры человеческих душ». Странно, что «инженеры», за исключением единиц, поддались. Впрочем, и это, вероятно, не так уж загадочно. Сочетание эластичной приспособляемости с агрессивной нетерпимостью определяло и все еще определяет литературную жизнь. Нет, видимо, другой возможности избавиться от такого постыдного сочетания, кроме как отказаться от идеологии, безраздельно господствовавшей в стране и обществе свыше семидесяти лет, идеологии, густо замешанной на цинизме.

Мне лично нелегко дался этот вывод, никому его не навязываю. Он касается прежде всего членов КПСС — бывших и нынешних, несущих свою долю ответственности. Однако не надо воображать, будто господствующая идеология не воздействовала на беспартийных и они от нее целиком свободны. Даже у ее ярых противников мы изумленно обнаруживаем до слез знакомые черты.

Думается, уход из партии — процесс естественный, закономерный, содействующий перестройке. Применительно к литературе содействующий свободе, раскрепощению творчества. Уходят по преимуществу люди, демократически настроенные. (Консерваторы уходить не собираются, предполагают перезимовать, обновить в нужном духе «партию нового типа».) Но уходят и составлявшие «болото», и карьеристы-неудачники. А среди остающихся немало тех, кого сейчас называют радикалами или демократами. У них свои резоны, свои надежды. Но в споре с уходящими они невольно смыкаются с консерваторами, кровно заинтересованными в монолитной партии.

Вообще я думаю, съезд РКП внес ясность, довершил общую картину. Когда он шел, поначалу чего-то не хватало. Но едва прозвучали презрительные слова о гнилых интеллигентах, о народах, недавно слезших с ветки, — все стало по местам. В программе, над которой продолжают трудиться идеологи РКП, разумеется, будет сказано о трудовой интеллигенции, о консолидации, об интернационализме и т. п. Но ежели верить партийным программам, мы уже давно пребываем в коммунизме. Благодаря всеобучу у нас и малограмотные читают между строк, улавливают смысл не только речей, но и хитроватого подмигивания — цинизма нам не занимать. Этот смысл, спрятанный между строк, это подмигивание, безусловно, обеспечат РКП поддержку в специфической среде. И откровенное невежество Полозкова, над которым потешаются журналисты, тоже способно сработать в его пользу.

Так обстоит с обновлением партии на данном этапе, и вряд ли могло обстоять иначе.

Для обновления, как минимум, необходимы новые идеи. Предложения, однако, старые, образца 1917 года. Поддержанные тогда большинством народа, многими интеллигентами, они не воплотились

в жизнь и не воспрепятствовали номенклатуре узурпировать власть в стране и партии. Сейчас их предлагают опять, походя извинившись и дополнив гласностью, приматом общечеловеческих ценностей, которые не имеют отношения к идеям, а всего лишь элементарные условия общественного бытия. Шум вокруг этих слов — показатель того, насколько далеко мы отброшены от норм цивилизованных государств.

Камни в «шестидесятников» всегда летели справа. Сегодня летят слева. Упреки, как ни обидно, подчас небезосновательны. Свою скромную миссию «шестидесятники» выполнили прежде всего в литературе, искусстве. Зародили сомнение в умах, побудили к критическому восприятию системы, не подлежащей критике. Но их прекраснодушие, быть может, оправданное три десятилетия назад, сегодня в лучшем случае вызывает недоумение, иронические улыбки.

Зато позиция — агрессивно-демагогическая — вызывает неприятие. Она лишь увеличивает разрыв между демократами, покинувшими партию, и оставшимися в ней. Я имею в виду статью Лазаря Карелина в «Правде», красноречиво вопрошающую: «Куда вы с поля боя?».

Но зачем понапрасну тратить пыл на «заочников» вчерашнего дня? На нынешнего «заочника» работают доктора наук; между прочим, теорию застойно-развитого социализма тоже обосновывали большие ученые — доктора и академики...

Видимо, боясь остаться один на один с «заочниками», автор грозной правдинской статьи обрушивается на людей, покидающих партию, и анализирует различные причины «отступничества».

Кто же спорит: в правящую партию должны были хлынуть и хлынули карьеристы. Но почему она радушно их принимала? Удовлетворяла корыстные и тщеславные побуждения? Не имела механизма противодействия, зато обладала отработанной системой продвижения циников, невежд, стяжателей, ласкала и холила их.

Великодушно простив выход из партии шахтерам, металлургам, крестьянам (они тоже именуются «господами», но в кавычках), Л. Карелин возмущается интеллигенцией: «С Иваном Кузьмичем Полозковым им сейчас не по пути? А с Сусловым им было по пути? Или, может, со Ждановым, Щербаковым по пути? Или, может, с Ежовым, Абдукумовым, Берией было нам всем легко и просто уживаться в одной партии?».

Те, кому было легко, как правило, и остались. Кому неволею, как правило, ушли. Даже «заочникам» известен закон перехода количества в качество. Всякое терпение имеет конец. И еще одно. Рядовые коммунисты состояли в партии, будучи отчужденными от нее. Это не снимает с них вину, но частично объясняет их поведение.

Определив место Полозкова в ряду партийных лидеров, Л. Карелин приблизился к ответу. Но ушел от него. «Коммунисты, вперед!» — привычно восклицает Карелин, забыв уточнить, за кем, во имя чего.

Уже на первых порах перестройка вызывала определенный скепсис у людей. Ее проповедовали те же, кто совсем недавно восхвалял застой, успехи «развитого социализма». Один из главных его теоретиков продолжал редактировать «Правду».

XXVIII съезд подавляющим большинством голосов отказался признать вину КПСС за содеянные преступления. Следовательно, партия не в состоянии соотнести ситуацию, свой долг и собственные возможности. Она теряет и продолжает терять авторитет. Умеренные ее сторонники осторожно мечтают, чтобы она догнала перестройку.

Однако смысл метафоры, вынесенной Л. Карелиным в название статьи, достаточно прозрачен. Всем ведомо, как именуют людей, покидающих поле боя. Генерал И. Родионов иносказательно не пробавляется, по-солдатски рубит: выход из КПСС — дезертирство. И для убедительности ссылается на западных обозревателей.

Но обозреватели не подсказали боевому генералу, кто будет судить за дезертирство — военный трибунал, «тройка» или «особое совещание», и соблазнительная мысль о расстреле дезертиров как-то досадно не завершена...

Нет ничего удивительного и предвещательного в том, что И. Родионов и Л. Карелин одинаково отрицательно относятся к выходу из партии. Такова достаточно распространенная точка зрения. Удивления достойно, что в статье писателя, мыслящего образами, и в «Субъективных заметках» генерала, мыслящего категориями устава, одинаковые обвинения предъявляются не разделяющим эту точку зрения, одинаково звучат угрозы. Это способно прямо-таки поставить в тупик.

Перечисляя посты, недоступные беспартийным, Л. Карелин забыл о том, какой сам занимал в недавние застойные годы. Беспартийному писателю, будь он и семи пядей во лбу, не стать рабочим секретарем писательской организации, то есть не получить должность с солидным постоянным окладом, гарантированным изданием и переизданием собственных сочинений, служебной машиной у подъезда, секретаршей у дверей кабинета. Не талант требовался — благосклонность куда как привлекательного горкома КПСС.

Сверхтщательно подбирались секретари Московской писательской организации, одним из которых длительное время был генерал КГБ. Столичные писатели находились на дурном счету у партийного начальства еще с хрущевской «оттепели». Затеяли полунезависимый альманах «Литературная Москва», на собраниях позволяли себе чуть больше дозволенного. Альманах с шумом прихлопнули, партийную организацию распустили.

Я бы покривил душой, уверяя, будто этот роспуск губительно сказан на творчестве или самочувствии столичных авторов. Однако, исправляя ошибки взбалмошного «волютариста», нас вернули на привычное «поле боя». Все пошло своим чередом: ожесточенные проработки, исключения, запугивание, заигрывание. Иными словами, рабочие секре-



тари оправдывали свое назначение, свое безбедное существование, свой генеральский ранг.

У советской литературы имеется несомненно позорное достижение: она преуспела в милитаризации человеческого сознания, в разжигании ненависти по самым разным признакам и поводам, содействовала распространению цинизма. Когда генерал несогласных с ним именует «дезертирами», с него взятки гладки. Но когда литератор продолжает неумоимо палить по несогласным, оглашать окрестности воинственными кличками, делается горько и стыдно.

Вопрос о партийности сугубо личный, раздувать его до размеров всенародного события по меньшей мере неразумно. Тем паче, что судьба страны не зависит от численности КПСС. Выход из нее не подвиг и не преступление. Равно как и сохранение членства. Неоправданные реакции усиливают антагонизм, бесплодные споры, раздражение.

Да, связываю робкие надежды с горбачевской идеей «общеевропейского дома», с сахаровской идеей «конвергенции». С временами, когда поэту не понадобится быть «больше, чем поэтом», превращаться в «горлана-главаря», становиться «на горло собственной песне».

Неужто и им суждено обернуться иллюзией? Утонуть в демагогическом краснбайстве? Пасть жертвой воинственной идеологии, торжествующего разброда, неистребимого цинизма?

1990

## СОДЕРЖАНИЕ

Лучшие годы нашей жизни, или Почему я равнодушен к антиутопиям . . . . .	3
К вопросу о белых перчатках . . . . .	12
Идеи и «правила» . . . . .	23
Наплевизм . . . . .	30
Распутье . . . . .	40

В. КАРДИН

### К ВОПРОСУ О БЕЛЫХ ПЕРЧАТКАХ

*Публицистика*

Редактор М. З. Зараев

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

---

Сдано в набор 5.05.91. Подписано к печати 10.06.91. Формат 70 × 108<sup>1/32</sup>.  
Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10.  
Усл. кр.-отт. 2,28. Уч.-изд. л. 3,21. Тираж 90000 экз. Зак. № 469. Цена 15 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Лени-  
на издательства ЦК КПСС «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.



**В СЕРИИ «БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»  
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 1991 ГОДА  
ВЫШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:**

- О. МАНДЕЛЬШТАМ «Четвертая проза»;  
Е. РЕЙН «Непоправимый день»;  
В. НИКОЛАЕВ «Горсовет по-американски»;  
С. ЛИПКИН «Угль, пылающий огнем»;  
Г. АКСЕНОВА «Театр на Таганке: 68-й и другие годы»;  
И. ЭРЕНБУРГ «Неправдоподобные истории»;  
Л. ЧУКОВСКАЯ «Сверстнику»;  
Р. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ «Бессонница»;  
К. БАЛЬМОНТ «Где мой дом?»;  
Ю. КАРАБЧИЕВСКИЙ «Незабвенный Мишуня»;  
В. РЕЦЕПТЕР «До третьего звонка»;  
Б. ЗАЙЦЕВ «Братья-писатели»;  
М. КВЛИВИДЗЕ «Продолжение следует»;  
Г. БЕЛАЯ «Затонувшая Атлантида»;  
А. АНАНЬЕВ «Конец опричнины»;  
Б. ПЕТРОВСКИЙ «Два человека — одно сердце»;  
В. СЕЛЮНИН «Все у нас получится»;  
Н. ЗАБОЛОЦКИЙ «История моего заключения»;  
В. КОСТИКОВ «Сумерки свободы»;  
Е. ДОБРОВОЛЬСКИЙ «Заполярные ангелы»;  
А. ПЬЯНОВ «Утренние птицы»;  
Г. РОЖНОВ «Всесоюзный розыск»;  
А. БЕЛЫЙ «Первое свидание»;  
В. КОРАЛЛИ «Куплетист из Одессы»;  
Б. ОКУДЖАВА «Приключения секретного баптиста»;  
С. АНТОНОВ «Петрович».